

Олег РОЙ



ОБЕЩАНИЕ НЕЖНОСТИ

Олег Рой

Обещание нежности

«Олег Рой»

Рой О. Ю.

Обещание нежности / О. Ю. Рой — «Олег Рой»,

Трудно Андрею Сорокину жить обычной жизнью, если с младенчества он видит чужие мысли. Взросление и развитие его способностей приносит горе не только ему, но и его близким. Изломанные судьбы, предательство и смерть лучших друзей, потерянное имя – следствие его дара. Хватит ли у Андрея сил доверять людям так же, как доверяли ему дельфины в научной лаборатории теплого южного города?

© Рой О. Ю.

© Олег Рой

Содержание

Пролог	7
Наташа	14
Глава 1	14
Глава 2	20
Глава 3	27
Глава 4	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Олег Рой

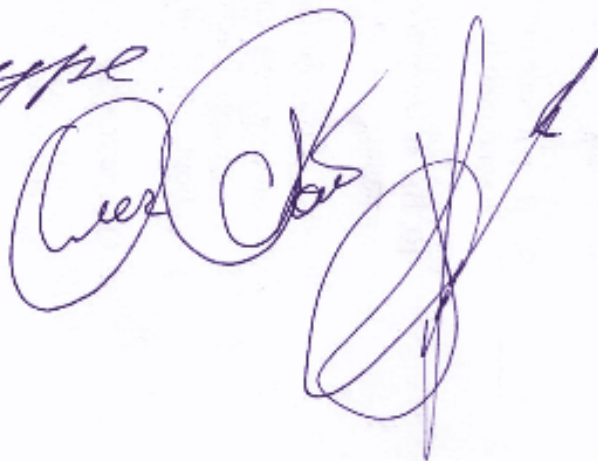
Обещание нежности

Иногда, оставшись один, ты со страхом думаешь: а как бы все сложилось, если бы ты не встретил Ее – твою настоящую половинку? Видя сегодня себя в моих детях, я понимаю: вы – моя родина, вы – мое счастье, люблю вас до безумия, моя маленькая семья! Детям: Оленьке, Витюшке, Женечке; и моей любимой супруге Ольге посвящается

Дорогой читатель „ЛитРес“!

Я очень рад, что имеет
возможность обратиться
к каждому из вас с
пожеланиями удачи,
счастья, любви... Ведь
именно эти слова
вы так часто будете
встречать в хорошей
литературе.

Ваш



Пролог

Мартовское солнце ударило в сияющие, чисто вымытые окна маленькой кофейни на Тверской с такой неожиданной силой, что люди, сидевшие за столиками, восторженно заулыбались негладким солнечным зайчиком на своих белых фарфоровых чашках. Это был первый проблеск тепла в истощенную слякотью, хмурую, уставшую Москву. Посетители расслабленно щурились, с удовольствием подставляя солнечным лучам лица, покрытые легким, дорогим, но искусственным загаром. Весна... Солнце... Это было так чудесно! А потому незаслуженным оскорблением, нелепым посягательством на их права показалась людям странная фигура, внезапно появившаяся у окна со стороны улицы и загородившая солнце.

Эта фигура не имела ничего общего с респектабельным, элегантным фасадом главной улицы столицы. До смешного долговязый (явно больше двух метров), до неприличия грязный и оборванный человек оскорблял даже взор собрата-бомжа, вылезшего на Тверскую, потому что сквозь его лохмотья проглядывало не только немытое, но и покрытое язвами тело, а лицо и руки были обезображены многочисленными порезами и ожогами. Он был поистине страшен, этот осколок какой-то неведомой, наверняка криминальной, трагедии, и благополучные посетители кафе отреагировали на его появление единственно возможным способом: они отвернулись, не желая испытывать чувство стыда и неловкости.

Какая-то женщина тихонько вскрикнула, сидевший прямо у окна хорошо одетый господин торопливо замахал на бомжа рукой, нетерпеливыми жестами приказывая ему отойти прочь, но оборванец не замечал этих жестов или же не понимал, что его гонят. Жадно вытянув шею, разглядывая разноцветные столики, аппетитные пирожные на тарелках и цветущие веточки в маленьких вазочках – неперенные атрибуты богатой, изысканной жизни, – он точно вбирал в себя недоступные ему образы и ароматы, чтобы представить себя на месте этих людей, столь же далеких от него, как если бы это были марсиане. Человек явно озяб и был голоден; он смотрел на чистенький и ухоженный мир кофейни как на уголок давно потерянного рая, вновь обрести который для него было, пожалуй, совершенно невозможно.

– Эй, ты, быдло! Ты что, не слышишь меня?

Грубый окрик за спиной заставил бы вздрогнуть и обернуться кого угодно, но только не этого странного бомжа. Теперь этот человек, возраст которого с трудом поддавался определению, был занят совсем уж немыслимым занятием: он поднял вверх худую правую руку, сложил пальцы так, как делают, держа хрупкую чашечку, опасаясь ее повредить, и, кивая головой, подносил воображаемый кофе ко рту. Если бы молодой сержант милиции, который подошел к нему уже вплотную, обладал психологическим чутьем, он сумел бы по скупому, не вытравленному до конца изыскаеству жестов догадаться, что бомж этот знал лучшие времена и что пальцы его помнят вес фарфора, а потому и передают ритуал застолья так бережно. Но стражу порядка, «при исполнении обязанностей», было наплевать на все эти ненужные тонкости, и почти детская, трогательная игра голодного человека только обозлила его.

– Я тебе уже битый час ору, – громко и недовольно сказал милиционер, остановившись наконец прямо перед нарушителем и чуть покачиваясь на широко расставленных ногах. – Какого хрена ты вылез на эту улицу из своих вонючих подвалов? Что шляешься? Может, теракт готовишь? – И он сам усмехнулся своему предположению: таким бессмысленным оно показалось.

Бомж ничего не ответил. Он смотрел прямо на сержанта спокойным, чуть удивленным взглядом, в его глазах, казалось, плескались синие волны, и что-то теплое вдруг мелькало при взгляде на собеседника, на улицу, на проходящих мимо людей. Как ни странно, он не выглядел испуганным, скорее непонимающим.

– Ты что, не слышишь меня, что ли? – невольно сбавил обороты милиционер, голос его зазвучал тише и мягче. – Ты, может быть, совсем идиот? Тогда тебе тем более нечего на Тверской делать. Иди, иди себе... – И он начал тихонько наступать на бомжа, тесня его в сторону полукруглой арки в переулок.

Но тот стоял по-прежнему неподвижно, словно не замечая ни угрожавшей дубинки, ни нервно шарахающихся в стороны людей. Молодая дама в шубке из голубой норки брезгливо подобрала полы одежды и нарочито опасливо прижала к груди дорогую сумочку – этот жест окончательно решил судьбу бомжа. Милиционер не мог больше позволить ему находиться здесь, а потому, вздохнув с непривычным и непонятным ему самому сожалением, вызвал по рации наряд.

Патрульная машина подкатила так быстро, как будто ждала вызова на соседнем перекрестке. С любопытством остановившаяся неподалеку старушка, удовлетворенно кивнув головой при виде наряда, забормотала себе под нос: «Ведь могут же работать, когда захочут...» – и заковыляла в сторону Кремля. Неторопливо вылезший из машины старший чин окинул все еще неподвижную фигуру брезгливым взором:

– Из-за него, что ль, звал? Этого забирать?

– Этого, товарищ старшина! – гаркнул милиционер, крутившийся рядом с застывшим на месте бродягой. – Смотрите, какой он... ужас прям!

– М-да... Нет, эту тварь я в машину не пушу. Кто после него салон будет хлоркой отмывать? Гони его с Тверской, да и все тут.

– Как гнать-то? – жалобно протянул сержант, сдвигая на вспотевший лоб вмиг ставшую тесной форменную ушанку. – Он не реагирует ни на что, молчит, не двигается... Малахольный какой-то. И кожа вся в язвах, видели?

Старшина, только сейчас в подробностях разглядевший скорбную фигуру, присвистнул от изумления и протянул:

– Ну и ну! Прокаженный, что ли? Ты его хоть руками-то не трогал, баран?

– Нет, – покачал головой милиционер, – не трогал.

– Ну и ладно. Давай-ка мы его в переулочек, в переулочек, и с глаз долой. Нечего добропорядочных граждан смущать. Нечего, нечего, гражданин, идите себе...

И они, привычно и скорее для проформы, нежели с подлинной злостью, матерясь, начали теснить нелепую высоченную фигуру в лохмотьях в арку. Бомж, наконец уразумев, чего от него хотят, закивал головой и покорно двинулся прочь с центральной улицы. Однако, зайдя в арку, остановился, прислонился к стене и снова замер, обхватив свои плечи и дрожа всем телом.

Зубы его выбивали ритмичную дробь, сердце замирало и ухало, точно скатываясь в пропасть. Ему было холодно и одиноко. А самое страшное было то, что бомж не помнил, как оказался здесь, в Москве, и что с ним случилось в том городе, который он привык считать родным. Все это время он с замиранием сердца ждал, что милиция станет спрашивать его, откуда он взялся, как попал сюда, а он не сможет ответить на этот простой вопрос, потому что сам не знает. Но, как выяснилось, подробности его биографии никому не были интересны, главное, чтобы он не пугал своим видом посетителей нарядных кофеен... И, глядя в спину уходившему наряду почти с тоской – все-таки это были люди, хоть на мгновение проявившие к нему интерес, – бомж снова двинулся по Тверской.

Он хотел добраться до какого-нибудь подземного перехода и присесть хоть бы на полчаса: ноги уже отказывались держать его, колени словно одеревенели. Может быть, ему подадут какую-нибудь еду: он сам видел, как иногда сердобольные старушки кидают нищим не деньги, а сосиску или кусок булочки. Непроизвольно сглотнув слюну при этой мысли, бомж быстро и уже не заглядываясь на сверкающие витрины зашлепал по чавкающей мостовой. Ноги тонули в московской грязи, брызги разлетались во все стороны, и, заметив, что солнце уже скрылось за тучами, он невольно усмехнулся появившейся неожиданно мысли: неужели даже весна здесь,

на Тверской, выдается только за деньги? Тем, кто сидит в дорогой кофейне, – пожалуйста – солнышко. А тем, кто нищ и бездомен... Но додумывать эту мысль было неприятно, и, вздохнув, бомж оставил свои философствования.

Где-то здесь, совсем рядом, – он помнил это хорошо, – должен быть вход в подземку. И в самом деле, буквально через пару минут он обнаружил перед собой круто спускающуюся лестницу и, не помня себя от радости, рванул вниз, в гулкий, сырой, заполненный чужими голосами и лицами туннель.

Прямо перед ним засияли витрины подземного магазина. Наученный горьким опытом, человек испуганно отшатнулся от сверкающих стекол в сторону и, найдя наконец в переходе относительно укромный уголок, с кряхтением уселся на пол. Прямо над ним пестрела огромная театральная афиша; наискосок девушка продавала весенние цветы; напротив, за продуктовым киоском, хвастливо выставившим в ряд кондитерские изыски, сидел одноногий нищий, небрежно привалившись к стене, а совсем рядом с ним упоенно ковырял в носу какой-то малыш, разглядывая шоколадки... У бомжа тоже когда-то был маленький брат... младший... тоже любил конфеты... Неясное воспоминание – отзвук далекой, неправдоподобно прекрасной жизни – мелькнуло и тут же исчезло, перебитое реальным, грубым, но зато таким обнадеживающим звуком: звоном монетки у его ног. Монетка кружилась, звенела и пела, и, словно в полусне, он протянул к ней руку – нет, не к ней, а к тому, что она воплощала в себе: к еде и теплу, защищенности и свету...

Дальше все произошло в мгновение ока. Рослый хромоногий парень в камуфляже, примостившийся было по соседству с бомжем и аккуратно поставивший перед собой для сбора денег перевернутую шапку, теперь, не говоря ни слова, навалился на незнакомца и принялся выламывать ему руки, пытаясь добраться до жалкой монетки. Деловито сопя, он колотил соседа по голове и спине, не выказывая, впрочем, признаков особого озлобления и лишь повторяя:

– Это мое место. Понял? Мое место...

Бомж молчал, но истово сопротивлялся. Он совсем ослабел от своих долгих мытарств, но знал, что ослабеет еще больше, если сейчас отдаст монету. Ведь тогда его точно прогонят отсюда и он не сможет поесть... А его противник тем временем нажимал все сильнее, по-прежнему приговаривая:

– Это мое место. Я всегда здесь сижу. Отдай деньги.

Возможно, еще немного – и человек перестал бы бороться, потому что борьба уже казалась ему бессмысленной. Но помощь пришла, откуда не ждали, и он услышал над собой тягучий, прокуренный, немного гнусавый голос:

– Оставь его, Серый. Пусть сидит с нами. Не обеднеем.

Одноногий старик, давно наблюдавший за новеньким из своего угла за ларьком, теперь приковылял к месту схватки и заговорил тоном человека, не привыкшего к возражениям.

– Но я всегда здесь сижу. Это мое место, – возразил парень.

– Оставь его, я сказал, – еще строже повторил одноногий. – Не видишь, что ли? Это же настоящий... Пусть подкормится немного. Да и шум нам совсем ни к чему; чего доброго, на твои вопли еще Борисыч явится, тогда хлопот не оберешься.

С шумом втянув в легкие воздух, скорчив недовольную физиономию, парень отошел к своему месту и недовольно отвернулся к стене. Бомж все так же молча поправил на себе лохмотья, опустил в карман монетку, не взглянув даже, насколько велика была ее покупательская способность, и, улыбнувшись, кивнул так вовремя появившемуся заступнику. А одноногий, усевшись с ним рядом на заплеванный пол, помолчал немного, пожевал папироску и лениво спросил:

– Чего молчишь? Немой, что ли?

– Нет, – впервые разомкнув изъеденные язвами губы, нехотя пробормотал бомж. – Просто голодный.

– Ну, это беда поправимая. Сейчас вот мы кликнем кого-нибудь... да вот хоть Сашку, – и он кивнул мальчику, который уже несколько минут отирался рядом с ними, с любопытством глядя на разворачивавшуюся сцену. – Давай-ка, малец, сообрази нам шаурмы какой-нибудь или там шашлычка немного. Скажи Зауру, пусть не жметя: это для меня лично, все за мой счет.

И, подождав, пока мальчишка исчезнет из поля зрения, неожиданный благодетель вновь повернулся к незнакомцу.

– Так что у тебя с лицом? – спросил он как ни в чем не бывало, без всякой брезгливости разглядывая испещренную ранами кожу.

– Я не знаю.

– Не знаешь или не помнишь?

– Не помню, наверное, – бомж пожал плечами. – Помню только, как жегся огонь... Было больно.

– А-а, – понимающе кивнул одноногий. – Пожар, стало быть, приключился. И где это было?

– Не здесь. Далеко отсюда? – Бомж по-прежнему еле шевелил губами, точно каждое слово приносило ему нестерпимую боль, а каждое воспоминание – душевную муку.

– Не в Москве?

– Нет. На Черном море.

– На Черном море?! – непритворно изумился спаситель. – Так как же тебя сюда-то занесло? Не ближний ведь свет!

Бомж молчал, привалившись к стене и уставясь в одну точку. Сотни ног шаркали мимо него по подземному переходу, и их равнодушный шелест напоминал ему какое-то давнее, хорошо знакомое, даже любимое ощущение. Ну да, конечно! Вот точно так же шелестели и шумели, накатываясь на него и снова убегая прочь, волны... Так же монотонно гудело море... Так же скучно и долго шуршали страницы большой тетради, которую листал тогда этот хмурый доктор, пока не закричал вдруг страшным голосом на женщину: «Вот только погорельцев без паспорта мне тут не хватало! Ты что, не знаешь, что это была за лаборатория?! Убери его отсюда!..»

Да, в лаборатории ему жилось хорошо. Много интересной работы, и хорошей еды, и отличных друзей... А потом случился пожар. И дельфины, его дельфины... они все погибли! Задышавшись, впервые вспомнив об этом с такой непреложной болью и ясностью, он беззвучно заплакал, и одноногий нищий, все это время внимательно наблюдавший за ним, похлопал его по плечу и сказал:

– Ладно, хватит. Поешь вот пока.

Оказывается, перед бомжем уже лежали на картонной тарелке сочные, аппетитные куски мяса, распространявшие упоительный аромат. Судя по всему, одноногий был здесь кем-то вроде предводителя; во всяком случае, неведомый Заур приготовил для него и его гостя кушанье по первому разряду. А бомж даже и не заметил, когда ему принесли еду; голод, как ни странно, отступил перед внезапно нахлынувшими воспоминаниями, и, торопясь и перебивая сам себя, он вдруг заговорил, глотая слова:

– Там выгорело все дотла. Многие погибли. Меня обожгло, поранило... Мне было плохо.

– Так ты не заразный?

– Нет. Правда, в больницу меня не взяли, но медсестра дала мне одежду и проводила на вокзал. Сказала, что теперь я могу ехать домой, в Москву, к своим родным.

– Ты москвич?

– Наверное, был когда-то. Я не помню, – отмахнулся бомж. Эти подробности казались ему сейчас совсем несущественными; гораздо важнее было выговориться до конца, раз уж он сумел вспомнить все это. – Денег у меня не было, и я залез в какой-то почтовый вагон. Я слышал еще раньше, что так можно путешествовать... Грузчики, наверное, отлучились на время; меня никто не остановил, и я устроился на мешках с письмами. Там были и посылки. Я вскрыл одну, взял конфеты и печенье. Было вкусно... – наивно, почти по-детски, похвастался он. Потом вновь замолчал, и нищий больше ни о чем не стал спрашивать. Закурив новую папиросу, он уставился в одну точку и задумался о чем-то своем. Еще одна поломанная судьба, еще один потерянный человек. Сколько видел их одноногий на своем веку! Одной трагедией больше, одной меньше, какая разница? Все они давно перестали интересовать старика, потому что ничего нового не было для него ни в человеческих страданиях, ни в человеческой подлости.

А обожженный, покрытый язвами человек, неожиданно деликатно и осторожно принявшийся за еду, отчего-то совсем не чувствовал вкуса мяса. Он вспоминал те конфеты, которые стащил из открытой посылки, – какие они были вкусные и как быстро они кончились. Почти такие же вкусные, как те, которыми в детстве угощала его мама... Был такой же мартовский полдень, когда они вчетвером сидели за празднично накрытым столом (какой же это праздник отмечают в начале марта? Вот ни за что не вспомнить!), и отец кормил шоколадками из коробки младшего сына. Старший тоже потянулся за конфетой, но отец шлепнул его по руке и строгим голосом сказал: «А тебе уже довольно. Ты и так много съел». Интересно, почему отец не любил его?.. Бомж подумал сейчас об этом без всякой горечи, потому что его очень любила мама, и этого было довольно. Вот и тогда она протянула ему под столом целую горсть замечательных нежно-коричневых, округлых и квадратных, с разными начинками конфет...

А в поезде он, должно быть, потерял сознание от боли и пришел в себя только в Москве, на вокзале, – кто-то грубо тряс его за плечи, изрыгая потоки отборнейшего мата. «Вышвырните его отсюда, – как сквозь сон, звучал в ушах чей-то голос. – Посылку списать на потерю, в вагоне навести порядок. И чтобы больше такого не повторялось...»

Он дня три бродил по Москве, то узнавая, то не узнавая кривые привокзальные улочки и переулки. Отсыпался в незапертых подъездах, рылся в помойках, надеясь найти хоть что-нибудь съестное, мерз под весенним дождем... Потом вдруг вышел к Кремлю, но на Красную площадь зайти не решился, хотя ему почему-то этого очень хотелось. Это была площадь его детства, и он еще помнил, как их класс водили на экскурсию в музеи Кремля... Но теперь он поспешно свернул на Тверскую, которая показалась ему понятней и безопасней других центральных улиц. Впрочем, и это, как выяснилось, было ошибкой – как будто что-нибудь еще, кроме ошибок, могло оставаться в его жизни...

Одноногий нищий давно уже уковылял прочь из перехода, на прощание снова похлопав его по плечу, а бомж все сидел, привалясь к стене. Голод больше не мучил его, но слабость была такая, что он почти не мог пошевелиться и только ждал теперь, пока какая-нибудь неведомая посторонняя сила не настигнет его и не заставит подняться на ноги. И потому он совсем не испугался и не расстроился, когда перед ним вновь появился драчливый парень в камуфляже, сопровождаемый на сей раз уже знакомым старшиной из патрульной машины.

– Смотри, Борисыч, – пожаловался парень, кивая на сгорбленную фигуру у стены. – Расселся тут, будто у него место купленное. А оно мое, я за него сам знаешь сколько отстегиваю... Забери его, Борисыч, от греха подальше, а то ребята на него уже зуб точат. Противный он больно, грязный, заразный, наверное...

– Да, – вздохнул уса́тый старшина. – Я это чучело уже видел. Ну, давай, урод, подымайся. Не убрался с Тверской по своей воле, выгоним силой. Насидишься теперь у меня в «обезьяннике», пожалеешь, что добром не ушел...

В отделении было тесно и шумно. Запах сигаретного дыма, мужского пота, невымытого тела, казалось, намертво въелся в стены; душное помещение заполняли сочная брань и истерическое, опасливое настроение несвободы. За решеткой копошились и вяло огрызались друг на друга люди, почти такие же грязные и оборванные, как он. Но не товарищи по несчастью сейчас интересовали его. Как ни странно, самая напряженная, нервная волна шла здесь не от запертых на замок бродяг и преступников, а от высокого, подтянутого, хорошо выбритого милиционера в ловко сидящей форме, то и дело возобновлявшего какие-то долгие переговоры по телефону за стеклом дежурной части.

«Подполковник...» – мельком бросив взгляд на его погоны, определил бомж. Он хорошо разбирался в звездочках: там, в его лаборатории, было много военных. Все они были такими же стройными и подтянутыми, как этот милицкий чин; от них всегда пахло хорошим одеколоном, веяло уверенностью в себе и страстью к своей работе... Но сейчас бомж почти явственно ощущал, как улетучивалась, испарялась всегдашняя уверенность, обычно свойственная людям, подобным этому подполковнику; как нервничал он, закуривая сигарету за сигаретой, и так же последовательно, не докурив, тушил их в темной стеклянной пепельнице; как все более раздраженно барабанил по столу пальцами, убеждая в чем-то своего невидимого собеседника.

И тогда с бомжем вновь случилось *это*. Он не любил этого чувства, но оно часто накатывало на него помимо воли, когда его сопереживание кому-нибудь, желание помочь, его *вчувствование* в чужую боль были слишком сильными, они захлестывали его бурным потоком и переставали подчиняться трезвому рассудку. Бомж знал, что ему достаточно одного только небольшого усилия воображения – и он увидит и услышит то, чего на самом деле ни увидеть, ни услышать физически невозможно... И, беззвучно обозвав себя дураком за то, что не может оставить этот враждебный мир в покое, он мысленно поднялся с места и шагнул сначала сквозь решетку, а потом и сквозь толстое стекло с надписью «Дежурная часть».

В пепельнице, стоявшей перед подполковником, скопилось уже полтора десятка окурков, а голос его почти охрип, пропитавшись безнадежностью. Он говорил с женой – об этом можно было догадаться по чуть интимным, чуть раздраженным интонациям – и, похоже, в сотый раз повторял ей одни и те же слова:

– Позвони еще раз Вере Федоровне... Нет, но она могла с ней связаться. Морги? Не говори глупостей! Ну хорошо, хорошо, не плачь. Честно говоря, я и сам уже... я все обзвонил – больницы, морги, бюро несчастных случаев. Нет, я думаю, все будет в порядке. Она у нас взрослая, разумная девочка. Держись.

Телефонная трубка была брошена на рычаг так, словно она только что укусила державшую ее руку. А подполковник, снова и снова повторяя «Черт!.. Вот черт!», принялся рыться в ящиках стола, извлекая на свет божий фотографии единственной, любимой, не вернувшейся в этот день из института домой дочери. На нее это было совсем не похоже – не позвонить, не предупредить... И, снова растерянно повторив «Вот черт!», подполковник застыл на месте, сосредоточив взгляд на одном из снимков.

Сознанию бомжа, тело которого до сих пор, неудобно скорчившись, сидело в «обезьянике», достаточно было один раз взглянуть на все эти цветные снимки, чтобы картина, уже смутно маячившая в мозгу, приобрела четкие и яркие очертания. Девушка стояла сейчас у открытого окна, гневно и судорожно размахивая руками; темный вечер почти уже перешел в ночь, но в небе не было ни одной звездочки – какие там звезды в Москве? Промозглый мартовский ветер трепал один конец длинного шарфа, накинутого ей на шею, а другой небрежно мямл и растягивал в своих руках юнец с неприятной усмешкой, смотревший на нее слишком уж пристально. Из окна едва виднелся в темноте огромный, подавляющий своими размерами памятник какому-то царю на фоне корабля с парусами, а внизу еще копошился народ, торопясь домой и вовсе не замечая опасности, которой так и веяло от распахнутых оконных створок на высоком этаже.

Тревога сдавила сердце обожженного человека, и какое-то седьмое чувство подсказало ему так же точно, как это не раз бывало и прежде, что медлить нельзя. А потому бомж, словно очнувшись от недолгого сна, принялся сквозь решетку делать странные знаки подполковнику из дежурной части, с непостижимой уверенностью подзывая его к себе и как будто даже не сомневаясь в том, что высокий милицкий чин захочет снизойти до разговора с таким получеловеком. Подполковник непостижимым образом внял этому зову, подчинился нелепому призыву и минуту спустя отрывисто и беспокойно спрашивал человека за решеткой:

– Ну? Чего надо?..

– Мне – ничего, – спокойно и очень внятно ответил бомж. – Но ваша дочь в опасности. С ней рядом человек, который не должен быть там. А из окна виден памятник... большой и, кажется, под парусами. Я не помню, как он называется.

Лицо усатого подполковника посерело, задергалось, и, не говоря ни слова, он быстро отошел в сторону, выхватывая из кармана записную книжку. Один звонок – и подруга дочери, заливаясь слезами, что-то бормочет о приятеле, которого пару недель назад увела у нее Ленка. Ну и пусть, пусть забирает на здоровье: все равно он давно уже на игле, говорила она ей, дуре стоеросовой... Еще один звонок – и адрес этого приятеля накрепко, на всю жизнь впечатался в мозг отца. Это рядом с Октябрьской, и, действительно, из окна виден грозный, огромный, безумный памятник Петру... Следующий звонок – и машина с мигалкой ждет подполковника, потому что медлить нельзя. Он успеет и вовремя ворвется в квартиру как раз тогда, когда длинный шарф слишком туго обмотается вокруг шеи его дочери и до мгновения, которое могло бы стать последним в ее жизни, останется всего ничего...

А когда через несколько часов подполковник вернется в отделение, он уже не увидит за решеткой длинную, нелепую фигуру обезображенного человека. И тогда он спросит подчиненных очень тихо, но так, что тем и в голову не придет долго соображать, о ком именно он спрашивает:

– Где?.. Где, я вас спрашиваю?

– Страшный такой? Да не беспокойтесь, товарищ подполковник, никуда он не делся. Мы его в общую перевели.

– Ко мне. Немедленно.

Наташа

Глава 1

Этим летом погода как будто сошла с ума. Уже в июне под Москвой горели торфяники, в классах было душно и маетно, воздух слоился от несвойственной нашим местам почти южной жары, а люди страдали от перегрева и получали тепловые удары... Вот и сейчас Наташа вздохнула, невольно прижав руку к пылающему лбу, словно старалась унять головную боль, и тут же улыбнулась, подметив точно такой же неосознанный жест у Марии Ильиничны.

Классная руководительница говорила сегодня с ними по-особому – тихо, позабыв о привычных чеканно-педагогических нотках, уже никуда не торопясь и даже не пытаясь скрыть набегавшие время от времени слезы. Да и день был особенный: в последний раз они в классе, последний раз слушают свою Марьяшу. Экзамены кончились, оценки выставлены, будущее почти определено. Вечером – выпускной... И, вспомнив о бале, при мысли о котором начинает сладко биться любое девчачье сердце, Наташа опять вздохнула, загадав: «Вот если Володька пригласит меня сегодня – все будет в жизни точно так, как я хочу!»

Володька Некрасов не пригласит ее этим вечером. И в жизни, конечно же, все сложится совсем иначе, чем планирует она сейчас, в последний раз присев за школьную парту. У кого из нас хоть что-нибудь получается так, как мы мечтаем в семнадцать лет?... Но девушка пока еще ничего не знает об этом. Она молчит и рассеянно шурится из-за солнечных зайчиков, мерцающих в большом школьном окне. Она наблюдает за пылинками, пляшущими в столбе света перед ее глазами. Она слушает свою учительницу.

А Мария Ильинична тем временем произносила слова, которые говорила каждому своему выпускнику – не замечая, впрочем, что в очередной раз безбожно повторяется. Она повторялась оттого, что каждый из классов заставлял ее не то чтобы забыть о предыдущем, но делался для нее дорогим, по-настоящему единственным. И она говорила и говорила, меняя только имена и обращая их к другим лицам, и никто из замерших перед нею ребят даже и не догадывался, что слова эти уже звучали в стенах школы неоднократно.

– Ты можешь по-прежнему присылать мне свои стихи, Катя. Я уверена, что тебе стоит попробовать опубликоваться, – я ведь уже не раз беседовала с тобой об этом. Твои рисунки, Алеша, я храню и буду хранить всегда. Ты ведь знаешь мою большую синюю папку, да? Там собрано лучшее из того, что вы отдавали на конкурсы, дарили мне к праздникам, готовили для стенгазеты... А ты, Наташа, пожалуйста, не вздумай забросить химию. Вера Семеновна говорила мне, что у тебя настоящий талант, да и неудивительно при таком-то отце!... Тебе прямая дорога в химико-технологический.

Девушка вздрогнула, услышав эту фразу, но не потому, что классная руководительница произнесла ее имя, а потому, что та заподозрила, будто Наташа может забросить химию. Отказаться от своей мечты? С какой стати?! Она будет ученым, большим ученым. Таким же, как ее отец, Николай Иванович Нестеров. И вот когда она защитит докторскую и во всеуслышание объявит, как он учил ее, как помогал ей во всем, как много сделал для науки, – вот тогда все поймут свою вину перед ее отцом и вернут ему то, что было у него отнято.

Домой Наташа летела как на крыльях. Директор, встретившись с ней в коридоре, поздравил ее с отличными результатами и сказал, что она среди лучших учеников. Конечно, не золотая медаль, но все же... И еще он сказал, что о ее ответе на экзамене по химии уже ходят легенды и что он советует девушке серьезно подумать об этой профессии, ведь сейчас, в начале семидесятых, это одно из самых перспективных направлений науки. Чудак! Разве Наташа сама

не знает об этом? Разве у нее есть сомнения? И разве Николай Нестеров позволил бы дочери даже думать в жизни о чем-то еще, кроме химии?

– Мам, я пришла! – звонко крикнула она, хлопнув дверью, и влетела в тесную кухню. По неискоренимой детской привычке схватила прямо со сковородки горячую котлету, потянувшись за куском хлеба и... мигом была остановлена укоризненным взглядом матери, появившейся на пороге.

– Положи хлеб, Наташа, – очень ровно проговорила та. – Вымой руки и садись за стол. Никак не научу тебя порядку. А ведь не маленькая уже!

– Ну ты чего, мам? – с набитым ртом заныла девушка, предусмотрительно отодвигаясь подальше в сторону с надкусанной котлетой в руке. – Знаешь, как есть хочется! Я ведь столько экзаменов сдала, отошала, ослабела...

– Ну-ну, – засмеялась мать. – Ладно уж, доедай, отошавшая. Только, чур, уговор: следующая котлета – не сразу, а только после того, как умоешься, переоденешься и все мне расскажешь.

Глаза у нее из холодновато-отстраненных сделались теплыми, и Наташа в который уж раз поразились их немислимой ясности, прозрачности, почти озерной глубине. Какая все же мама красивая! Ей, Наташе, никогда такой не стать. А руки!.. Она перехватила на полдороге мамину руку, потянувшуюся было, чтобы поправить дочери растрепавшуюся прядь волос, и прижала ее к щеке. Длинные, тонкие пальцы, нервные и чувственные, такой чудесной формы, такие искусные... Как жаль, что теперь они загрубели, потрескались, покрылись цыпками. Мама работала на фабрике эмалированной посуды, имела дело с химическими растворами (опять эта химия!) и, конечно же, не смогла сохранить руки бывшей пианистки такими ухоженными, как прежде. И все равно они были красивы, в них чувствовалась порода, в них было природное изящество, которое невозможно вытравить никакой тяжелой работой.

– Ты давно дома? – тихо спросила Наташа, чтобы прервать затянувшуюся паузу, во время которой они обе, кажется, думали об одном и том же.

– Давно, – спокойно ответила мать, аккуратно высвобождая руку из ладоней дочери. – У меня сегодня была утренняя смена. Посмотри, сколько я успела сделать к твоему приходу. По-моему, вышло чудесно...

И девушка, забыв об еще не утоленном до конца голоде, рванулась в комнату, где на большом столе в живописном беспорядке были развалены лоскуты светлой ткани, тесьма, кружева, над которыми гордо возвышалась старенькая швейная машинка. Мама уже несколько недель колдовала над своим свадебным платьем, пытаясь превратить его в выпускной наряд для дочери, и, кажется, преуспела в этом: получилось действительно неплохо...

Наташа знала, что вряд ли произведет фурор среди одноклассников, появившись на балу в перешитом из старья платье. Это не было, разумеется, ни модно, ни престижно. Ее подругам выпускные наряды шились на заказ, в дорогих ателье, кому-то родители сумели купить их по чекам в «Березке», а самой обеспеченной девочке в классе платье, по слухам, даже привезли из-за границы. И все равно: то, что лежало сейчас перед ней на столе, было очень красиво! А потому она не собиралась горевать из-за того, что в семье нет денег и ей придется из-за этого выглядеть на балу скромнее и незаметнее собственных одноклассниц. «Пусть, пусть! – упрямо думала Наташа, прикидывая на себя готовое платье перед большим зеркалом их платяного шкафа. – Я не настолько глупа, чтобы переживать из-за всякой ерунды. Это платье сшила мама, и оно замечательное!»

– Оно замечательное, мамочка, – повторила она уже вслух, потянувшись, чтобы чмокнуть ее в щеку. – Спасибо. Ты у меня молодец.

– Молодец, – устало кивнула мать, глядя сквозь дочь своими озерными глазами, вновь ставшими отстраненными и далекими. – Я и правда немало потрудились над ним. Я хочу, чтобы ты была сегодня не хуже других. Пусть все знают, что у нас в семье все в порядке. Пусть знают,

что Наташа Нестерова окончила школу среди первых учеников, что ты обязательно будешь учиться дальше и перед тобой самая ясная, самая чистая дорога, какую только можно себе представить... Пусть все знают, все!..

Мать залилась слезами так неожиданно, так неудержимо, что девушка, растерявшись, ничего не успела сказать и только молча обняла ее рано поседевшую, неумело покрашенную дешевой краской голову. В рыданиях матери не было ничего для нее нового, но никогда прежде мать не плакала так откровенно, не таясь от Наташи. И, застыв рядом друг с другом, ничего не говоря, потому что слова здесь были бесполезны, они едва расслышали, как тихо отворилась и еле слышно стукнула в прихожей дверь.

У Николая Нестерова – некогда известного химика, руководителя закрытого НИИ, а теперь рядового сотрудника малоизвестной академической лаборатории – характер был тяжелый и подозрительный. Ничего удивительного: попробуйте-ка дожить до сорока лет, будучи обласканным властью и облеченным многочисленными преимуществами высокого научного статуса, а потом в одночасье потерять все. Когда неожиданно выяснилось, что один из сотрудников института Нестерова втихомолку продавал их разработки на Запад (о, не самые закрытые, не военные, но все же, все же...), Наташиному отцу, разумеется, пришлось покинуть свой пост. И это было еще полбеды. Но после многомесячной тайной работы в институте сотрудников КГБ, громкого скандала, раздутого с помощью дозволенных органами публикаций, некогда известный ученый получил «желтый билет»: его больше не брали на работу ни в одно солидное учреждение, ему не доверяли, его чурались. Почти все друзья отвернулись, а родной брат заявил, что не хочет иметь ничего общего с человеком, запятнавшим себя пусть не прямым предательством, но легкомыслием и доверчивостью, которые этому предательству способствовали.

Конечно, жизнь семьи круто изменилась. Мама вынуждена была уйти из известного музыкального училища, где она преподавала много лет. Сменив старинные залы, пахнувшие тишиной, музыкой и лаком музыкальных инструментов, на шумные и грязные рабочие цеха, она невольно изменила и весь стиль своей жизни – круг знакомых, манеру одеваться, привычки, способы проводить досуг. Отец работал теперь рядовым исполнителем, был фактически выкинут из науки. Что же касается Наташи, то она, пожалуй, пострадала меньше всех: в ее школе к происшедшему отнеслись сдержанно – к счастью, времена уже были не те, когда из-за случившегося всех членов семьи могли объявить врагами народа. Да к тому же директор школы неплохо знал когда-то Николая Ивановича, отнесся к его несчастью сочувственно и оказался достаточно умен, чтобы не ставить ему в вину проступок другого человека.

И все-таки это была уже совсем другая судьба: не та, которая могла быть у Наташи, не та, которую пытался обеспечить ей отец, не та, которой они все заслуживали... И, понимая это как никто иной, Николай Нестеров нашел себе единственное утешение, которое могло быть. Это было исконно русское утешение, и оно принесло ему постоянно красные глаза, невнятную речь, подозрительных знакомых и несколько пневмоний, от которых он так по-настоящему уже никогда и не оправился. Пошатнувшееся здоровье сказалось на характере: он стал придирчивым, раздражительным, беспокойным – да и могло ли быть иначе, если близкие теперь почти никогда не видели Нестерова трезвым? И все-таки, может быть, хотя бы сегодня, думала Наташа, когда спешила домой после последнего классного собрания... Может быть, сегодня. В день ее выпускного бала. В день, когда он услышит, как его дочь назовут среди лучших выпускников школы.

– Ал-ла, – протяжно позвал отец из прихожей, и они обе вздрогнули. И уже по отцовскому голосу, по манере растягивать слова, точно от болезни или слабости, по его размашистому «Ал-ла!» (он никогда не называл так жену прежде, в их благополучной жизни: она всегда была для него Аленой, Лялечкой) – по всему этому Наташа с грустью поняла: нет, и сегодня

ничего не изменится. Все будет по-старому. Отец не посчитал нужным прийти домой трезвым в торжественный для дочери день. Может, он вообще забыл, что сегодня у нее выпускной.

А мать торопливо вытерла лицо и глянула на Наташу строго, почти гневно. Она всегда была на стороне отца, что бы ни случилось в доме, и неизменно ждала от дочери терпения и понимания. Предостерегающе кивнув Наташе, чтобы та не вздумала донимать отца вопросами, она «надела» на лицо снисходительную, все понимающую маску и вышла навстречу мужу.

– Ты голодный? – услышала девушка ее голос, звучавший как ни в чем не бывало. – Ужинать будешь? Сегодня котлеты вкусными получились.

– Нет, – раздраженно ответил отец. – Я очень устал. Хочу пораньше лечь.

– Но... разве ты не помнишь, Коля? Сегодня у Наташи выпускной. Мы хотели вместе пойти посмотреть, как ей будут вручать аттестат. Хотели поздравить ее. Всех родителей пригласили на праздник, я сшила ей отличное платье... Наташа, покажи!

Дочь торопливо накинула на себя белоснежный, легкий, как яблоневого цвет, наряд и выскочила на кухню. Она хотела понравиться отцу. Он должен заинтересоваться дочерью, должен захотеть побыть с нею в этот день, должен прийти сегодня в школу, как отцы ее подружек... Должен, должен, должен! И, закружившись перед ним в делано веселом, слишком озорном танце, девушка вдруг резко остановилась, с размаху кинулась отцу на грудь и прижалась к нему, как в детстве, отчаянно желая, чтобы он понял ее и больше никогда, никогда не заставлял стыдиться его слабости.

Нестеров долго молчал, уткнувшись в русую головку. А когда Наташа подняла ее, то увидела: глаза его не красны и не бессмысленны сегодня. Он не был пьян. Перед ней стоял просто бесконечно усталый, бесконечно больной, обиженный на судьбу человек. И этот человек смотрел на нее с любовью и грустью, потому что он вовсе не забыл о том, какой сегодня день. Просто когда-то, очень давно, в далеких и навсегда ушедших мечтах, он видел этот день совсем по-другому.

– Ты пойдешь с нами, папа? – глотая выступившие вдруг слезы, спросила дочь.

Нестеров только покачал головой.

– Не заставляй меня, дочка. Я нездоров. Пусть мама... одна.

– Ну, нет, – решительно возразила Алла Михайловна, как всегда беря решение на себя. Она давно привыкла к тому, что семейный корабль держится на плаву только благодаря ее умелым натруженным рукам, ее быстрым решениям, ее взглядам на жизнь. – Ты же видишь, Наташа, папу нельзя оставлять одного. Ты отправишься в школу одна, сама, как взрослая. Будешь веселиться за троих, пировать и танцевать до упаду. А мы останемся ждать тебя дома. Мы и так знаем, что у тебя все будет хорошо.

– Все будет хорошо, дочка... – бессмысленно повторил отец, переминаясь с ноги на ногу и как-то жалобно глядя на жену. Бессознательным жестом он потер левую сторону груди, и этот жест заставил настороженно вскинуться Наташину мать. Но сама Наташа была еще слишком молода, чтобы обращать внимание на такие пустяки. Вскипев едва ли не первый раз в жизни, она взметнула вверх тонкие русые брови и прошипела с такой язвительностью, на которую прежде не считала себя способной:

– Все будет хорошо, да?.. Конечно же, будет. Будет просто прекрасно – у вас. Вы мирно устроитесь перед телевизором и будете жалеть себя, вспоминая о прошлом...

– Наташа! – с упреком вскрикнула мать.

Но девушку было не остановить.

– А я? Как же я? Вас будет двое, а я одна. И сегодня все в школе будут семьями. Все матери и отцы будут радоваться за своих детей. Моих одноклассников будут поздравлять родители, они будут чокаются с ними шампанским и ночью поедут кататься по городу. Все будут красивыми, счастливыми, радостными. А я... – голос ее прервался, и Наташа опрометью выскочила из дома.

Старая дверь скрипнула, недовольная таким бесцеремонным обращением, затворилась с резким стуком, и девушка прислонилась к ней с другой стороны, обводя застланным слезами взглядом пустую лестничную площадку. Пытаясь унять нервную дрожь, сама обескураженная неожиданным эмоциональным всплеском, она уже сожалела о своей вспышке. Зачем это все, в самом-то деле? Ведь в глубине души Наташа с самого начала предполагала такое развитие событий и не так уж надеялась на то, что оба ее родителя чинно и благопристойно войдут вечером в актовый зал школы. Слишком избегал людных сборищ в последние годы ее отец, слишком постарела и подурнела некогда красивая и благополучная мать... Пусть живут так, как хотят, как им легче... Пусть все остается, как есть. Она и так будет счастлива.

Крадучись, словно воровка, стараясь открыть дверь и двигаться абсолютно бесшумно, она вернулась в прихожую и потянулась за стареньким кошельком, все еще лежавшим в портфеле. Платье, слава богу, уже на ней; новые белые босоножки, на которые она копила деньги с самой осени, тут, под вешалкой, в аккуратной картонной коробке. Самое время выйти из дома, чтобы поспеть в парикмахерскую... А в пять часов уже нужно быть в школе. И, вновь выходя из квартиры на цыпочках, Наташа успела еще перехватить, впустить в сознание мирный голос матери, которая что-то успокаивающе втолковывала отцу, и слабый, почему-то щемяще-тонкий голос отца, опять говорившего с придыханием: «Ал-ла! Что-то не так. Тянет вот тут, больно, Ал-ла...»

Выпускной прошел для нее точно в угаре. Все было действительно прекрасно – торжественные речи и бесконечные поздравления, новенький аттестат, почти сплошь заполненный пятерками, поцелуи Марьи Ильиничны вперемешку с ее же слезами, крепкое рукопожатие директора школы, впервые официально дозволенное шампанское... Володька Некрасов, правда, так и не пригласил Наташу на танец – он весь вечер просидел у ног первой красавицы класса, той самой девушки, платье которой из переливающегося шелка привезено было из-за границы. Ну и пусть, не очень-то и хотелось... Все равно она, Наташа, тоже была в центре внимания и пользовалась успехом, все равно ей целовали руку мальчишки, а девчонки из класса клялись в вечной дружбе. Все равно она была уже взрослая, и, значит, ее праздник состоялся. А Володька, платье, отсутствующие родители – все это, в сущности, такая чепуха!

Девушка ни за что не призналась бы себе самой, что эта «чепуха» изрядно подпортила ей главное событие в ее такой еще коротенькой жизни. Основное свойство ее характера – неискраемый, почти бездушный оптимизм – уже проявлялось в Наташе, пускало глубокие корни, делало ее жестче и циничнее. А потому Наташа упрямо не хотела вспоминать ни о слабом голосе отца, ни о слезах матери, ни о той старой и грустной истории, из-за которой она все-таки оказалась на главном своем празднике одна.

Ни один человек в школе не задал ей вопроса, почему на выпускной вечер не пришли ее родители. История семьи Нестеровых давно была перемыта и отлакирована до блеска язычками всех школьных сплетниц; она уже много лет как перестала быть щекочущей, сенсационной тайной и теперь оказалась поводом скорее для жалости, нежели для злорадства. И учителя, и родные Наташиных одноклассников прекрасно понимали, как больно падать с такой высоты. А потому в этот вечер многие из них были с Наташей особенно ласковы, особенно приветливы. Ведь сын за отца не отвечает, это признавал когда-то даже сам Сталин. А уж дочь – и подавно.

И никто не выразил недоумения, когда за десять минут до полуночи – так нелепо, не вовремя, даже бестактно – в зале вдруг появилась Алла Михайловна Нестерова, одетая почти по-домашнему. Кто-то из Наташиных подружек, округлив от ужаса глаза, потом передавал знакомым и родственникам, что, мол, представляете, кажется, на ней были чуть ли не тапочки... «Лицо, знаете, такое хмурое, губы сжаты, глаза опущены. Растолкала всех нас, точно не видя, схватила Наташу за руку и потащила из зала. Это уж потом мы узнали...»

Лишь потом это узнала и сама Наташа. Сначала мать ничего не сказала ей, только выдохнула едва слышным от потрясения голосом: «Пойдем быстрее!» И, конечно же, девушка могла

бы сама догадаться, что только одно могло вынудить ее мать прийти на вечер вот так, не вовремя и не к месту...

Но Наташа не хотела догадываться. Она шла за тащившей ее матерью, двигалась по темным улицам точно слепая, послушно села вслед за Аллой Михайловной в ожидавшее их такси, молча брела по белым длинным коридорам... Она знала, что это – вот это, белое и большое, – больница, но не хотела об этом думать. Она все понимала, но не желала, чтобы это стало правдой. Это был лучший вечер в ее жизни, ее праздник, почти триумф, и он должен был таким оставаться. Вопреки всему на свете.

Но когда Наташа оказалась в палате, где лежал опутанный трубками и проводами ее отец, ей все-таки пришлось признать очевидное: праздник кончился. Остался хмурый врач, который развел руками и сказал: «Обширный инфаркт. Вряд ли можно ожидать улучшения. Конечно, мы делаем, что можем, но, сами понимаете... Вы можете побыть тут с ним». Мать, заплакав, быстрыми шагами вышла следом за врачом, расспрашивая его о чем-то умоляющим голосом. А Наташа осторожно присела на кровать рядом с отцом и расправила на серой больничной простыне свое кипенно-белое платье. Глянув на легкие складочки воздушной юбки, она вдруг ощутила комок в горле. Подумать только, ведь всего час назад она веселилась на балу, уверяла себя, что все будет прекрасно, а на самом деле судьба уготовила ей в этот день совсем, совсем иное.

Отец продержался еще почти сутки. Он так и не пришел в сознание, пальцы его слабо шевелились, как будто откликались на пожатие постоянно находившихся рядом прекрасных пальцев его жены. Мать почти не говорила с Наташей; она все время молчала и только плакала, вглядываясь в безнадежно закрытые глаза, в уходившее навеки лицо человека, который был единственным мужчиной в ее жизни. Ее собственная жизнь, казалось ей, уходила вместе с ним; конечно, у нее оставалась Наташа, но все-таки это было другое. Как женщина она умирала сейчас вместе с мужем, едва ли вспоминая о том, что ей всего лишь сорок два года и что еще есть возможность стать счастливой и без Николая.

А Наташа тоже молчала, тупо глядя на отца, некогда такого веселого и сильного. Она, Наташа, не позволит, чтобы жизнь и с ней обошлась так же сурово. У нее все будет иначе. Обязательно будет.

Глава 2

Как ни странно, первые институтские годы запомнились ей плохо. Правда, это действительно была ее любимая химия, были новые друзья и первые радости «взрослой» жизни, это были преподаватели, для которых фамилия Наташи оказалась «говорящей»: они еще помнили взлет научной звезды Нестерова, и до сих пор некоторые из них, не зная, куда именно он пропал, рекомендовали студентам его работы, ставшие классикой... И все-таки счастья, которого она ждала, эти первые годы ей не принесли.

Хроническое безденежье в семье, не позволявшее девушке ни на минуту забыть о строгой экономии (настолько строгой, что даже стакан газировки за три копейки она могла себе позволить далеко не всегда – обходилась однокопеечной без сиропа), постоянный глубокий душевный траур матери, которая так и не стала прежней после скоропостижной смерти отца, – все это делало жизнь Наташи скудной и одинокой. Единственной отдушиной для нее стала та самая наука, которая была смыслом жизни отца. И, отчаянно штудировав отнюдь не студенческой сложности труды по химии, биологии, естествознанию, уже к четвертому курсу она оказалась на своей кафедре признанным авторитетом, к мнению которого прислушивались порой даже маститые профессора.

Все изменилось, когда однажды вечером она случайно, выглянув в окно, увидела, как, тяжело сгорбившись, надсадно кашляя, едва передвигая ноги, ползет с работы ее мать. Некогда статная, с горделивой осанкой, Алла Михайловна Нестерова за минувшие три года исстрадалась и изболелась так, что теперь ей неподъемной тяжестью казалась даже плетеная авоська с двумя выглядывающими оттуда бутылками кефира. К тому же у нее вдруг открылась астма, причиной которой, скорее всего, стала постоянная работа с химическими веществами. И если усталость она еще могла скрывать от дочери, то бесконечный кашель по ночам спрятать оказалось невозможно.

– Все, – твердо, с мрачной безнадежностью в голосе сказала Наташа, открывая в тот вечер матери дверь. – На работу ты больше не пойдешь. Увольняйся.

И Алла Михайловна действительно на другой же день подала заявление об уходе. Девушка, честно говоря, не ждала от матери такой покорности и мигом почувствовала себя в ловушке, сообразив, что неожиданно взяла на себя ответственность, которую вообще-то брать не собиралась. Однако было уже поздно: бразды правления в семье оказались в маленьких Наташиных руках, а вместе с ними и необходимость зарабатывать на жизнь. Существовать на мамину зарплату и Наташину повышенную стипендию они еще как-то могли, но теперь одной стипендии вкуче с крохотной пенсией было уже явно недостаточно...

На помощь пришла их старенькая соседка, Зоя Степановна, помнившая Наташу еще ребенком и всю жизнь проработавшая в Первой градской больнице. Она устроила девушку нянечкой – на таких работников в советских больницах всегда был дефицит. Теперь Наташе пришлось уйти на вечернее; день или ночь, в зависимости от смены, она проводила на работе в неизменном белом халатике, а в свободное время корпела над дипломом, который начала готовить задолго до положенного легкомысленным студентам срока. Кто бы мог подумать, негодовала про себя Наташа, что ей – это ей-то, надежде родного института, лучшей студентке курса! – придется выносить судна за больными и мыть в палатах полы... И кто бы мог подумать, счастливо улыбалась она уже через год, что именно эта проклятая, постылая работа станет той самой волшебной случайностью, которая озарит ее жизнь светом нежданной удачи и даст ей все, о чем она только смела мечтать.

Это случилось ранней весной, ночью, когда все больные уже спали и дежурная сестричка тоже сладко посапывала на диване в ординаторской. Наташа, примостившись за освобожденным столом, вычитывала отпечатанную уже дипломную работу. Мягкий полукруг света

настойной лампы падал на ее склоненную голову, остро отточенный карандаш легко скользил по черным ровным строчкам, губы тихонько шевелились, проговаривая про себя какие-то фразы, и девушке казалось, что так будет всегда: ночь, рукопись, тишина и приглушенный свет на столе... Однако крупная темная тень вдруг упала сверху на рукопись, и большая мужская рука накрыла тонкие Наташины пальчики, держащие карандаш.

Ойкнув от неожиданности, она резко подняла голову и тут же улыбнулась, убедившись, что ничего страшного не грозит.

– Не спится, Валерий Павлович? – приветливо спросила она, поднимаясь из-за стола навстречу пациенту, с которым, как ей казалось, просто нельзя, невозможно разговаривать сидя.

– Не спится, Наташа, – пожаловался невысокий, полнолицый человек. Он был пухлый, кругленький, мягкий, как мячик, всегда добродушный и ласковый. Дурашливо подмигнув девушке, он запел на мотив арии Татьяны из «Евгения Онегина»: – Не спится, няня, мне так ску-у-ушно! Открой окно и сядь ко мне!..

Наташа засмеялась и, глядя в ореховые глаза маленького человечка, достававшего ей только до плеча, почувствовала, как улечиваются куда-то усталость, раздраженность и ночная тоска. Да и как можно тосковать рядом с самим Платоновым – единственным пациентом на ее этаже, который понимает и по-настоящему уважает ее, с которым можно даже поговорить по душам!

«По душам» для Наташи всегда означало «о химии», и маленький начальник какого-то большого химико-биологического объединения, случайно подхвативший в отпуске инфекцию и потому оказавшийся в Наташиной больнице, действительно способен был не просто пококетничать с хорошенькой нянечкой, как это делали все пациенты мужского пола, а оценить ее интеллект, знания и даже ее фамилию.

– Так вот чем занимается дочь профессора Нестерова по ночам, вместо того чтобы сладко спать или даже... – Он улыбнулся, не докончив фразу, и многозначительно закатил глаза. А потом, шутливо отодвинув собеседницу в сторону, легко стянул со стола пухлые растрепанные страницы еще не переплетенного диплома.

– Научкой занимается, – серьезно ответила девушка. И в тон собеседнику, почти скопировав его интонацию, добавила: – Чем же еще может заниматься в жизни дочь профессора Нестерова?

Платонов кивнул и, мгновенно сделавшись серьезным, уже по-настоящему углубился в работу, которую держал в руках. Когда-то он очень уважал Наташиного отца, с которым не раз пересекался на конференциях и симпозиумах, хотя и занимались они разными направлениями. Непритворно сочувствовал его ранней смерти, так по-глупому незадавшейся судьбе... И теперь, листая страницы, исписанные дочерью этого человека, он впервые задумался о том, не унаследовала ли и впрямь эта скромная нянечка талант одного из своеобразнейших ученых, которых он знал. А вдруг и в самом деле... вдруг это судьба?

– Это судьба, – очень спокойно сказал он через несколько минут, подняв глаза на Наташу, нетерпеливо переминавшуюся с ноги на ногу рядом с этим беспокойным дядечкой. Ей казалось, что пауза чрезмерно затянулась, что страницы ее работы мелькают в его руках слишком уж быстро (что там вообще можно успеть прочитать при таком-то темпе?) и что Платонов, должно быть, просто смеется над ней. Посудите сами – ну мыслимое ли это дело, чтобы крупный исследователь-химик, хорошо известный в научных кругах, всерьез заинтересовался в два часа ночи дипломной работой безвестной студентки рядового химико-технологического института?!

Однако он проговорил всего два слова – «Это судьба», – и чудо оказалось реальностью.

– Ты вот что, Наташа, – серьезно и просто говорил ей Платонов уже на другой день, когда они степенно прогуливались по больничному саду: он – выполняя предписания врачей, а она –

сдав смену и улучив минутку для беседы с ним перед вечерними занятиями. – Ты обязательно приходи ко мне в лабораторию, как только меня выпишут. Ты занимаешься нефтепродуктами, всерьез зацепила очень важные для нас проблемы, связанные с переработкой нефти, а это наша тематика, наш хлеб, понимаешь? Ты можешь нам по-настоящему пригодиться.

– Вы правда... вы действительно так думаете? – слегка розовея от смущения и от открывающихся перед ней замечательных возможностей, переспрашивала девушка.

– Правда. Ты, кажется, будешь хорошим химиком, нянечка Наташа.

Он помолчал и добавил то, что она мечтала услышать всю свою сознательную жизнь:

– Твой отец гордился бы тобой...

Платонов сдержал обещание: он действительно взял ее к себе на работу, как только выписался из больницы и уладил все необходимые формальности. А в тот вечер, когда Наташа собиралась отдежурить последнюю оставшуюся перед увольнением ночную смену, произошло еще одно чудо.

Девушка примчалась домой после занятий в институте востряпанная, запыхавшаяся: лектор неожиданно задержал их сегодня дольше обычного, и у нее оставалось совсем немного времени, чтобы заскочить домой, переодеться и перекусить. Впрочем, нет, думала она, уже подбегая к дому: какое там перекусить, выпить бы хоть чашку чаю!.. Но у подъезда ей пришлось резко притормозить: дорогу ей неожиданно преградили несколько молодых людей. Компания была незнакомая, но не страшная и даже довольно симпатичная: грубо связанные свитера с высоким горлом, борода и, разумеется, гитары.

– Девушка, не посидите с нами? – осторожно тронув ее за рукав, негромко спросил один из них. – Вы нас не бойтесь, мы не злодеи какие-нибудь. Просто мы так соскучились по женскому обществу!

– Где ж вы были его так долго лишены? В армии? В тюрьме? – не удержавшись, поддела его Наташа и, негодуя на саму себя, тут же бросила взгляд на маленькие наручные часы: парень был чертовски привлекателен, но опаздывать на последнюю больничную смену все-таки не хотелось.

Компания негодуя загнула.

– Обижаете, девушка, – покачивая головой, степенно произнес самый старший из парней. – Геологи мы. Знаете: тундра, леса, экспедиции... В Москве почти год не были, вот и ищем себе подходящих спутниц для вечеринки. Сделайте милость, составьте компанию, а?

Наташа с сожалением, медленно покачала головой и ступила в сторону подъезда. Я бы с удовольствием, мысленно ответила она на приглашение, не удосужившись, правда, произнести этого вслух. С удовольствием бы, только вот времени нет...

И тут откуда-то из-за спин обиженно загалдевших молодых людей раздался одинокий, тонкий звук гитарной струны. Не романтический перебор, не парочка разудалых и хлестких аккордов, какими любят поражать сердца красавиц доморощенные донжуаны, а мягкая и единственная нота, прозвучавшая как вопрос, как печальное пожатие плечами.

Девушка в полутьме апрельских сумерек не видела, кто именно тронул гитарные струны, но отчего-то разозлилась в ответ на этот невысказанный вопрос и твердо произнесла:

– И все-таки нет. Всего хорошего, ребята.

Она сделала еще один шаг в сторону подъезда – и замерла, уловив в наступившей неожиданно тишине новый, совсем другой по тональности, но опять одинокий и очень чистый музыкальный звук. На сей раз взятая нота не была ни печальной, ни вопросительной; гитара прозвучала почти возмущенно, точно упругий восклицательный знак.

Компания молчала; Наташа по-прежнему не видела, кто именно разговаривает с ней таким странным образом, но отчего-то она не могла уйти, не ответив, и позволила втянуть себя в этот нелепый разговор:

– Для вас это так важно – чтобы я осталась?

«Да! Да!» – дважды ликующе всплеснулась гитарная струна, и ей показалось, что кто-то очень близкий, давно знающий ее, вздохнул с облегчением, проворчив про себя: «До чего ж упряма! Слава богу, наконец мы ее уговорили...» А потом бородатая компания расступилась перед ней, и вперед выступил человек, державший в руках обыкновенную, самую дешевую гитару – такие в любом крупном московском универмаге стоили семь рублей пятьдесят копеек. Он и выглядел почти обыкновенно, этот парень: простенький, чуть помятый и прилично грязный свитер, борода, «украшавшая» его так же, как и приятелей... и совершенно необыкновенные, безумно красивые глаза. Смотревшие в упор, эти глаза были такими темными, что ни зрачки, ни настоящий цвет совершенно невозможно было рассмотреть в сгущающейся вечерней тьме. Обрамленные огромными, совершенно девичьими ресницами, чуть насмешливые и чуть обиженные, они сразили наповал и навсегда разделили ее жизнь на то, что было «до», и то, что «после».

Это оказалась любовь с первого взгляда. Любовь тем более полная и интригующая, что, когда бы потом Наташа ни пыталась заговорить с Максимом о первой встрече, он ни разу ничего не объяснил ей, не сказал ничего вразумительного, ничем не оправдал свой стремительный и безнадежный порыв.

– Почему ты не заговорил со мной? Почему только трогал струны – то одну, то другую, то третью? – спрашивала она.

– Хочешь кофе? – отвечал Максим. У него были привычки, странные для геолога: он любил кофе и не признавал сигарет. Теперь, лежа рядом с ней в своей холостяцкой комнатухе на Стромынке, он готов был в любую минуту вскочить и сварить для нее ароматный и обжигающий напиток – если она захочет, конечно, пить кофе в постели.

– А почему ты так долго прятался за спинами ребят? – не унималась Наташа. – Если б я сразу увидела тебя, долгие уговоры вам не понадобились бы...

– Ты не опоздаешь на работу? Смотри, уже почти восемь...

– Нет, ты все же скажи. Как ты мог знать, что я угадаю, пойму значение этих звуков? Это было странно, даже пугающе...

Но он лишь пожимал плечами, виртуозно уходя от ненужного разговора. В жизни Максима все было просто: еда, если хотелось есть; экспедиция, если тянуло на свободу; женщина, если душе и телу требовалась любовь... А когда его сердце слишком долго оставалось незаполненным, всегда можно было встретить человека, само присутствие которого заполняло сердечную пустоту, был ли это новый друг или старый знакомый.

Правда, с Наташей сразу получилось как-то по-иному: она слишком быстро и властно забрала в свои маленькие ручки его свободное время, его чувства, жизнь, и он не переставал удивляться тому, как неожиданно ему стала необходима эта пигалица. У него в глазах до сих пор стояла ее стремительная, почти летящая походка, четкий очерк профиля, плавный жест руки, откидывающей назад русые волосы... Тогда, в сумерках, внезапно появившись у дома, где они коротали время, она показалась ему не живой женщиной, а призраком, бестелесным духом, мечтой, непонятно почему вдруг материализовавшейся из воздуха. Что же касается почему он вдруг решил поиграть с ней в музыкальную игру, вместо того чтобы попросту заговорить с ней... да кто ж это знает? Может быть, потому, что понятия не имел, как задержать ее у подъезда, что сказать. Он просто от безысходности взял самую первую, печальную ноту, малодушно перекладывая на гитару незнакомую задачу – познакомиться со строптивой красавицей.

В общем, он действительно не мог, да и не собирался ничего ей объяснять. Просто встретились. Просто зацепились друг за друга. И уже через неделю оказались в одной постели. Слишком быстро? Такое случается между мужчиной и женщиной. Тем более что она, кажется, ничего не имела против захватившей их стремительности. По крайней мере, не возражала вслух.

А девушка и в самом деле ни в чем не возражала ему. Все, что случилось между ними, казалось ей таким же правильным и естественным, как дышать, работать, быть без ума от химии или помнить отца. До сих пор еще никого не любившая, Наташа не была в то же время ни ханжой, ни пуританкой. Конечно, она не собиралась так быстро влюбиться в незнакомого, бородатого, длинноволосого геолога. Конечно, мама бы не одобрила такого скоропалительного развития отношений. Конечно, все могло бы случиться и после свадьбы... Но раз они любят друг друга, то стоит ли обо всем этом говорить?!

В тот самый первый вечер, позвонив все-таки на работу и подыскав какой-то благовидный предлог для опоздания (оказалось, на нее в эту последнюю ночную смену уже никто особо и не рассчитывал), Наташа осталась сидеть на скамеечке рядом с подъездом, пока ребята накрывали у соседей на пятом этаже импровизированный стол и созывали на вечеринку всех знакомых. Потом они разливали в стаканы дешевый портвейн и лихо закусывали дефицитными шпротами, рвали гитарные струны, флиртовали. И еще трепались о том, о чем всегда идет треп в малознакомых компаниях: о погоде, о политике, о профессиях, о полевых испытаниях и о том, как – «помнишь, Санек, ты нашел во-о-от такой халцедон!»...

Наташа не вымолвила за все это время ни слова; она смотрела на Максима, примостившегося со своей гитарой напротив, весело балагурившего с друзьями и ни разу так и не заговорившего с ней. Потом она коротко поблагодарила новых знакомых за угощение, поправила перед зеркалом в прихожей прическу и ушла. А выйдя под утро из больницы, где только что тепло распрощалась с коллегами, увидела у входа уже знакомую фигуру, притулившуюся на корточках под больничным козырьком.

С тех пор они уже не расставались. Максим, пользуясь своим коротким отпуском, провозжал и встречал ее с новой работы, расспрашивал о дипломе, защита которого должна была вот-вот состояться, сочувственно молчал во время ее долгих рассказов об отце. Ему нравилось смотреть на нее. Его завораживали Наташины движения, нежная улыбка. Иногда Максиму казалось, что эта девушка, вошедшая в его жизнь, могла бы и вовсе с ним не разговаривать; главное – чтобы она просто была, двигалась у него перед глазами и временами позволяла себя обнять, уткнувшись носом в его вечно небритый подбородок.

А она наводила порядок в комнате, доставшейся ему по наследству от недавно умершей матери, готовила ужины и завтраки, взалхлеб делилась подробностями о новых заботах в лаборатории Платонова. Обнаружив брошенный в прихожей под вешалкой рюкзак, плотно набитый грязной и скомканной одеждой, тщательно перестирала все, плаваясь от нежности и какого-то невыносимого, щемящего чувства горделивой женской собственности: это были вещи *ее мужчины*, пропахшие его потом, доверенные только ее нескромному взгляду, только ее любовной заботе. И, услышав потом его мимоходом сказанное «спасибо», чуть не заплакала, когда он небрежным комом сунул чистую, тщательно выглаженную одежду все в тот же тесный и грязный рюкзак.

Матери Наташа сказала – коротко, тоном, не терпящим возражений, – что выходит замуж, ничуть не сомневаясь, впрочем, что это официальное событие в ее жизни состоится еще не скоро. И каково же было ее удивление, когда однажды субботним утром, примерно через месяц после начала их бурного романа, Максим заявил:

- Собирайся. Оденься понаряднее. И документы не забудь.
- Куда это? – неподдельно изумилась Наташа.
- Идем в загс.
- Но по субботам там заявления не принимают... – растерялась девушка.

– А мы и не будем подавать заявление. Нас распишут сразу, потому что в понедельник мне в поле. Мне дали справку в экспедиции... Ну, давай же, торопись. Ты ведь хочешь выйти замуж?

Наташа остолбенело молчала. Конечно, она хотела выйти за него замуж. Конечно, это было чудесно – расписаться с Максимом сейчас же, сразу, но... как же свадьба? Мама? Подруги? Белое платье?..

Она и опомниться не успела, как комната заполнилась галдящими бородачами с гитарами, хрипло запел Высоцкий на потрепанной магнитофонной пленке, и кто-то крикнул им: «Идите, идите, ребята. Мы что-нибудь сварганим к вашему приходу. Гулять так гулять!»

Их действительно расписали в ближайшем загсе без всяких проволочек; она едва умолила Максима заскочить перед этим к ней домой, чтобы пригласить – хотя бы формально – на свадьбу мать и переодеться в свое выпускное платье. По причудливой ассоциации памяти кружевная белизна этого наряда мгновенно напомнила ей серые больничные простыни, на которых умирал ее отец. Она сидела тогда рядом с ним, и складки легкого платья так красиво, так живописно смотрелись на постели умирающего... При воспоминании об этом Наташу вдруг затошнило – так сильно, так внезапно, что она с трудом сумела справиться с собой. Но, мгновенно запретив себе даже думать об этом, она отчеканила про себя: «Сегодня – никаких терзаний. Сегодня мой день, и он должен быть прекрасен!»

Мать послушно отправилась с ними в загс, но прийти вечером на квартиру к новоиспеченному зятю, чтобы отпраздновать, отказалась наотрез. Ее губы, почти всегда теперь тесно сжатые, все-таки выдавили из себя подобие улыбки, когда она сказала дочери: «А я-то думала, что ты... Ну, бог с тобой».

– У меня все хорошо, мама! – попробовала было растопить лед оглушенная всем происходящим, растерянная от неожиданностей этого дня счастливая Наташа.

– Да? – недобро прищурила глаза Алла Михайловна. – Тогда отчего такая спешка?

– Да нет же, ты не поняла, – с облегчением рассмеялась девушка; ей показалось, что она сообразила, чем именно вызвана недоброжелательность матери. – Ты думала, ребенок?.. Нет, нет. Ничего такого. Просто... ну, просто мы очень любим друг друга.

Мать сухо кивнула рано поседевшей головой.

– Ну, разумеется. И ты, вероятно, очень гордишься мужем, не так ли?

Наташе так хотелось пуститься в пылкие и подробные похвалы Максиму, рассказать матери, какой он замечательный, какой смелый и умный... Но, взглянув на Аллу Михайловну, она отчего-то прикусила язык и только молча обняла ее. Обняла – и мгновенно отпрянула, услышав ее следующий вопрос:

– Тогда почему на вашей свадьбе будут только его друзья? Почему ты не пригласила, например, кого-нибудь в свидетельницы... ну, хоть Анюту? Ты ведь так дружила с ней в школе!

Девушка молчала, и мать безжалостно добавила:

– Хорошо, пусть не Анюту... не важно. Но вообще-то хоть кто-нибудь из твоих подружек знаком с Максимом?

Нет. Никто из Наташиных подруг не был с ним знаком. Она и сама, пожалуй, не смогла бы объяснить, как это вышло. За весь долгий-долгий месяц их любви она ни разу не удосужилась позаботиться о том, чтобы впустить его в свою прошлую жизнь более осязательно, более плотно, нежели просто объятиями и рассказами. Ей все время не хватало его, она не хотела делиться им ни с матерью, ни с подругами, ни с кем бы то ни было еще. Довольно и того, что геологическая компания самого Максима то и дело толпилась в их скромном жилище. А впускать туда еще собственных подруг... уж это увольте!

Вот так и вышло, что Наташа и в самом деле осталась без свидетельницы в такой торжественный день. Но законом это не запрещается – регистрировать брак без подружки со стороны невесты. И если бы не вопрос Аллы Михайловны, сама девушка вряд ли бы даже обратила внимание на то, что в ее свадебной церемонии чего-то не хватает.

Зато чего-чего, а внимания и галантности со стороны молодого мужа в этой церемонии было хоть отбавляй. Он принес в загс столько цветов, что Наташа, смеясь, даже предположила,

не оборвал ли он в угаре любви все близлежащие клумбы. Ведь для того, чтобы купить всю эту роскошь, кажется, потребовалась бы его годовая зарплата... Он нес ее на руках от самых дверей загса до помпезно украшенного куклами и кольцами такси; он только с ней танцевал весь вечер, не замечая скрыто-завистливых взглядов знакомых геологинь, пришедших, разумеется, чтобы поздравить его с законным браком. Он смотрел только на жену ясным и открытым взглядом, все таким же любящим и страстным. И поздно вечером, когда все наконец разошлись, он обрушил на Наташу такой водопад мужской нежности, что она показалась себе самой желанной, самой любимой, самой счастливой женщиной на земле.

Хотя почему показалась? В ту ночь, вероятно, она такой и была. Даже если бы за всю ее жизнь больше ни разу не случилось такой ночи, думала Наташа, можно считать, что она уже получила от судьбы все, на что может рассчитывать женщина. Жизнь уже прожита не зря. Во всяком случае, в понедельник утром, проводив мужа «в поле», едва удерживаясь от глупых сентиментальных слез первой разлуки и глядя в окно сквозь их непролитую пелену на быстро удалявшуюся фигуру, она вдруг схватила со стола тюбик красной губной помады и решительно вывела на стекло: «У меня есть все!»

У нее и правда было все. Любимый мужчина. Любимая наука. Любимая работа. И еще у нее был Платонов. Платонов, который на прошлой неделе в тихом разговоре с глазу на глаз открыл перед ней такие перспективы, о которых дочь опального профессора-химика раньше не осмеливалась даже задумываться.

Кажется, ее счастье «вопреки всему» начинало сбываться. Во всяком случае, Наташа на это очень надеялась.

Глава 3

А потом она стала ждать его и ждала целую вечность. То есть в тот, самый первый раз Максим вернулся довольно быстро: командировка оказалась краткой, в руководстве экспедиции пожалели молодожена и при первом же удобном случае отправили в Москву. Но мало-помалу его командировки стали все более частыми, отлучки – все более длительными, а вся Наташина жизнь превратилась в одно сплошное, огромное, невыносимое, коварное ожидание.

Коварным это ожидание было потому, что возвращения мужа в столицу и дни, проведенные вместе с Наташей, никогда не давали ей того чувства удовлетворения, той радости, которых она ждала от них. Ее надежды оказывались все более обманутыми раз от раза; ее любовь, становившаяся все ненасытнее, не соглашалась мириться с кратким и, по сути, почти формальным присутствием в ее жизни, которое предлагал ей Максим. А он, не понимая, чего именно ждет от него эта женщина, так быстро ставшая его женой, – разве не с ней он проводит все ночи, когда бывает в Москве? – уже тяготился ее любовью и надеждами.

Сценарий его возвращений к ней всегда бывал одним и тем же. Страстный поцелуй при встрече и первая ночь, полная такой неизъяснимой нежности, что всякий раз Наташе казалось: ради такой любви, такого самозабвения можно простить все, что угодно... Его внезапное исчезновение на следующий же вечер, которое потом повторялось с неизбежностью смены времен года и заканчивалось традиционным и равнодушным объяснением: «Извини, засиделся с ребятами...» Рюкзак, кинутый под вешалкой. Любовно и бережно перестиранный ею одежда, с коротким «спасибо». Огрызки хлеба и яблок, притаившиеся где-то в складках необъятного рюкзака и подающие признаки своего существования только внезапным запахом тления, которого вообще-то можно было бы в квартире и избежать. Вечные опоздания, где бы и когда бы они ни договорились встретиться; вечный отказ заехать повидаться с ее матерью; вечные бордатые друзья-геологи, заполонявшие их маленькую комнатку... Одни и те же песни под гитару, один и тот же портвейн, разговоры о политике и найденных минералах. И один и тот же диалог, повторявшийся с небольшими вариациями из раза в раз с каждым его приездом.

– У нас как-то неуютно, – говорил он, позевывая наутро после очередной затянувшейся вечеринки и обводя неодобрительным взглядом следы разрухи в комнате. – Неужели нельзя как-то обустроить нашу жизнь? Купила бы новые занавески, что ли...

– Я покупала, – со вздохом напоминала Наташа. – Но в прошлый раз твой любезный Сергеич явился к нам со своей овчаркой, и она ободрала не только обои, но и новые шторы. Совершенно невоспитанный пес.

– Отличный пес. Сергеичу совершенно некогда его воспитывать. Он все время в поле, в деле... А кстати, вчера нам опять было не на чем сидеть, когда ребята пришли. Тут уж овчарка ни при чем. Просто ты совершенно не хочешь заниматься домом.

– Я хочу, – терпеливо откликнулась жена. – Я же купила без тебя и посуду, и постельное белье, и даже немного мебели... Помнишь, в прошлый раз тебе понравились наши новые стулья? Но перед последним отъездом вы показывали друг другу какие-то новые позы из йоги и соорудили из стульев помост, чтобы демонстрировать на нем возможности человеческого тела. Наверное, тело может выдержать больше, чем стулья: вы все целы, а мебель – нет.

– Подумаешь, какое дело! – возмущенно отвечал Максим, подбираясь поближе к входной двери. – Что же мы, стулья не купим? А пока я же принес ящики – из того овощного, на углу. Это все равно что табуретки. Чем они тебе хуже стульев?

– Но ты сам говоришь, что вчера не на чем было сидеть... Твои гости не хотят сидеть на ящиках.

– Это ты не хочешь! – уже не сдерживаясь, цедил сквозь зубы муж, и глаза его становились холодными и злыми, а длинные ресницы начинали казаться Наташе острыми шпагами,

готовыми проткнуть ее насквозь. – Подумаешь, табуреток ей не хватает! Выходила бы замуж за космонавта, если геолог тебя не устраивает.

И исчезал за дверью, демонстративно хлопнув ею на прощание. А она едва подавляла желание закричать от безнадежной тоски, которая становилась в ее сердце почти непереносимой уже через неделю после его приезда.

Наташа задыхалась без Максима, но и его появления, становившиеся все более краткими, не давали ей ощущения, что можно наконец-то вздохнуть полной грудью. Ей было плохо без него; ей было плохо с ним. Она не смела ни на что пожаловаться матери, от которой совсем отдалилась, и не могла поделиться ни с кем из подруг, которых у нее попросту не осталось, – все они были оттеснены на дальний, почти неразличимый край ее жизни скоростной свадьбой, пылкой любовью, всей переменой ее участи. И, перестирывая в очередной раз его колючие скомканные свитера из рюкзака, она уже не упивалась родственной близостью этого мужчины, как прежде, а с грустью думала о том, что он даже не заметит, погладила она вещи или нет. Теперь Наташа твердо знала: ему это все равно.

Только работа в лаборатории Платонова по-прежнему приносила ей радость исполнения желаний, свежее чувство собственной полноценности, счастливую уверенность в завтрашнем дне. Она вписалась в небольшой, но спаянный коллектив легко и успешно; ее имя оказалось для новых коллег таким же «говорящим», каким было и для самого Платонова, а ее дипломная работа вызвала у сотрудников лаборатории восхищение, смешанное с удивленным почтением.

Ей нравилось приходить сюда по утрам и, облачаясь в белоснежный халат (эти халаты просто преследовали ее!), приступать к немому диалогу со своими пробирками, реактивами и записями, в которых не смог бы разобраться никто, кроме самой Наташи. Ей нравилось говорить с коллегами о том, в чем она превосходно разбиралась со школы, и произносить технические термины, которые непосвященным показались бы абракадаброй, а для нее звучали настоящей музыкой. И еще ей нравилось наблюдать, как носится по коридорам и кабинетам ее маленький, кругленький, вечно встрепанный начальник, всегда деловитый, всегда веселый и без умолку болтающий о своих новых экспериментах.

Среди этих экспериментов были и вызывающие скрытую усмешку у всех сотрудников Платонова, исключая, пожалуй, лишь Наташу. Будучи патологически маленького роста (и пользуясь тем не менее немалым успехом у дам), ее начальник без конца изобретал все новые и новые биохимические соединения, помогающие стимулировать в организме человека гормон роста. Глотая целыми горстями «сочиненные» им биодобавки, он только подмигивал девушке, наблюдавшей за ним в первые месяцы с немым ужасом в глазах, и успокаивающе отвечал на ее недоуменные расспросы:

– Я, Наташенька, ничего не боюсь. Не для себя же стараюсь – мне-то уже ничего не поможет, старенький я уже, – а для человечества. Нефть нефтью, ею мы по плану занимаемся, а это уж так – в свободное время, ради хобби-с. Надо же людям и личное счастье иметь, правда же?

– Да какое там личное счастье! – в сердцах отвечала Наташа. – Вы как маленький, Валерий Павлович, право слово. Только младенцы все подряд себе в рот тащат. Нельзя же на себе экспериментировать, это я вам как бывший медработник говорю!

– Медработник она, – начинал сердиться Платонов. – А того и не знаешь, что запрещать человеку заниматься любимым делом преступно и глупо. И кстати, очень вредно для его здоровья... Сказал, что выведу синтетический гормон роста – и выведу, вот увидишь!

Но пока Платонову удавалось «вывести» только волосы на собственной голове (которые выпали так внезапно, что никто из сотрудников не посмел даже пошутить на сей счет)... Его эксперименты были опасны и легкомысленны, но этот человек и в самом деле ничего не боялся: общаясь с химией на «ты», он был уверен, что совсем уж непоправимого вреда своему организму никогда не нанесет. В конце концов, те вещества, которые он использовал в своих опытах – каждое само по себе, – были вполне легальны и безопасны. А если их соединения дают какие-

то непредсказуемые эффекты... что ж, на то он и ученый, исследователь, чтобы в этих эффектах разобраться. Даже если ему и случалось попадать в больницу (однажды Наташа узнала, что и в их отделении он лежал когда-то вовсе не из-за «инфекции, подхваченной в отпуске», а тоже из-за последствий какого-то особенно неудачного эксперимента с гормоном роста), то и в этих случаях не терял оптимизма. И оставался все таким же шустрым, энергичным, гениальным Платоновым, которого не только обожал весь институт, но и нежно и преданно любила собственная жена и двое совсем взрослых детей.

– Ты понимаешь, Наташица, – он так и называл ее по имени с самых первых дней знакомства, – химия – это загадочная вещь! Никто из нас не знает, что с нами будет в старости: слишком уж много времени мы провели в общении со всякими непонятными реактивами. Так что не все ли равно, экспериментируем мы над собой сознательно, как я со своим гормоном роста, или неосознанно, как все химики на планете?

– Ну да, – ворчала Наташа, испытывая тем не менее к Платонову ученическую преданность и какую-то непонятную нежность, – вы уже доэкспериментировались... Посмотрите на себя в зеркало!

Но начальник только усмехался и весело подмигивал ей правым глазом, регулярно слегка менявшим оттенок радужной оболочки.

В доверительные минуты общей работы над каким-нибудь особенно сложным экспериментом, во время рутинного заполнения положенных отчетов, на скромных вечеринках по поводу чьего-нибудь юбилея Платонов всегда садился поближе к Наташе. Неизъяснимым женским чутьем она знала, что нравится ему, и относилась к данному факту легко и просто. Крамольные мысли о возможной запретной близости с женатым начальником, посещавшие ее сначала лишь изредка и со стыдом отбрасываемые прочь, вскоре уже начали казаться девушке такими же естественными, как и опасные околomedicalские упражнения Платонова с гормоном роста.

Это было вызвано еще и тем, что ее семейная жизнь становилась все горше и печальнее, чем успешнее оказывались ее достижения на работе. Иногда Наташе уже казалось, что Платонов и его дружелюбная симпатия даны ей небесами как компенсация за одинокую, несмотря на замужество, молодость, за попорченную веру в возможность счастья. Максим все реже появлялся на Стромынке, отговариваясь срочными и обязательными экспедициями; новые, грубо сколоченные ящики заменяли в комнате своих развалившихся собратьев (Наташа больше ничего не покупала в дом, а ее мужу это и в голову не приходило); и весь их быт, сначала так любовно обустроенный Наташей, дал трещину и развалился – так же быстро, как развалились когда-то под напором привычек мужа новые, только что купленные стулья...

А потом молодая женщина случайно узнала о существовании у Максима многочисленных «полевых жен». Нельзя сказать, чтобы эта информация оказалась совсем уж для нее неожиданной: трудно было ожидать иного, если молодой, здоровый мужчина по полгода не бывает в Москве и даже по возвращении не торопится обняться с женой. Так что потрясло Наташу не само присутствие других женщин в жизни ее мужа, а то, что никто из его друзей, кажется, и не думал скрывать от нее это обстоятельство, относясь к нему так, будто это было естественно.

Проговорился ей об изменах Максима тот самый Сергеич, который когда-то первым из всей компании заговорил с Наташей при встрече у подъезда, а после неизменно приходил к ним в гости со своей огромной овчаркой. И проговорился, кстати, не в том смысле, что сказал об этом случайно, сам того не желая, а в том, что заявил ей однажды без всякого заднего смысла, даже не предполагая, что для нее это может оказаться новостью:

– Ты бы, Наталья, не надрывалась чистить-то Максюхин рюкзак. У нас, геологов, примета такая есть: чем рюкзак грязнее и старше, тем, значит, удачнее будет экспедиция.

– Но я... я не чистила, – растерялась молодая женщина. – Это было в последний раз давно, года два назад, а потом Максим сказал мне об этой вашей примете, вот я больше и не трогала его.

– О-па! Ну, тогда, значит, это Сонька постаралась. Вот же глупая баба: сама геолог, и таких простых вещей не знает. Сколько раз говорили ей: не лезь ты к Максиму рюкзаку!

– Сонька? – глупо переспросила Наташа. – А кто это?

– Ну, вот те раз. Сонька же, наша повариха. Ну, которая с Максом крутила еще до Галины. А теперь вернуть его старается, за вещичками его ухаживает, лучшие куски мужику подкладывает. А Галька-то, новенькая наша, злится... ох, дуры бабы! Ну, ты что, не знала про них, что ли?

Она смогла только молча покачать головой.

– Значит, правда не знала, – почесал в затылке Сергеич. – Ну, тогда и хорошо, что я тебе сказал. Обычное же дело – полевая жена. То одна, то другая... Нельзя нашему брату без них, сама понимаешь.

Позже, когда Наташа вспоминала об этом, ее всякий раз удивляло, что сообщение об увлечениях мужа не принесло ей почти никакой душевной боли. Было только чувство брезгливости и желание поскорее как-нибудь по-другому, иначе организовать и устроить свою жизнь, так, чтобы ничья измена ее больше не касалась, чтобы ничье отсутствие не причиняло стыда. И чтобы можно было вернуться в свою старую квартиру, к матери, доживающей свой одинокий век. И чтобы мать не смогла ей с упреком сказать: «Вот видишь, а я ведь тебя предупреждала...» – ни о ком, словно никого в ее жизни и не было. Никого и ничего, кроме химии.

В эту ночь она осталась помогать в институте Платонову, частенько засиживающемуся над своими опытами едва ли не до самого утра. Они работали вместе, споро и слаженно; Наташа была у начальника на подхвате: «Поддай... разведи... добавь...» – он никому не доверял самостоятельную работу над своим драгоценным гормоном роста. Дома ее никто не ждал; рядом с Платоновым ей было хорошо, спокойно и безопасно. И когда уже на рассвете, устав от многочасового сидения над микроскопом, он вдруг неожиданно потянул Наташу к себе и впился в ее губы слишком быстрым, слишком страстным, чтобы показаться искренним, поцелуем, она не стала возражать. До прихода сотрудников их лаборатории на работу оставалось совсем немного времени, но им хватило: любовные экспромты не бывают затяжными, а скоротечная страсть насыщает куда быстрее, нежели привычная супружеская нежность.

– Ты вот что, Наташица, – смущенно покашливая и отводя глаза в сторону, сказал ей Платонов уже утром, – ты не вздумай сделать из сего факта каких-нибудь скоропалительных выводов. Ты для меня слишком хороша и слишком, правду сказать, молода. Так что, девочка, давай работать, как работали. Я, стыдно сказать, жену люблю и ничего менять в своей жизни не собираюсь...

Наташа от души расхохоталась и, одной рукой обхватив начальника за шею, другой насмешливо потрепала его по щеке.

– Испугались, Валерий Павлович? – поддразнила она его. – Бойтесь, что вот так фамильярничать буду, обниматься при коллегах полезу, жене стану жаловаться? Не бойтесь, – и она посерьезнела, опуская руки и мгновенно превращаясь в ту рассудительную и выдержанную Наташу, которую он всегда знал. – Все останется по-прежнему. Вы – Платонов. Я – Нестерова. И никак иначе.

– Ну, вот и славно, – с явным облегчением вздохнул Платонов, тоже принимая свой обычный деловитый и слегка встрепанный вид. – Все будет хорошо, Наташа. Мы с тобой друзья, да?

Они и остались друзьями. Тем более что буквально через три недели после этого в Москву совсем не вовремя, намного раньше обещанного, явился Максим. И тут же кинулся к жене выяснять отношения.

– Что тебе наговорил этот дурень? – грозно шипел он, имея в виду, вероятно, Сергеича. – Нет у меня никого и не было никогда. Ты моя жена. У нас все хорошо. Вот только табуретки наконец купить надо, стыдно же...

Наташа приснула тихонько на его последнюю фразу, но ничего не сказала в ответ. В конце концов, теперь и она была виновата перед мужем. К тому же она слышала стороной, что у него неприятности на работе, что в экспедициях он попивает и тем самым не раз уже навлекал на себя праведный гнев руководителя группы.

Их первая после разлуки ночь снова была бурной и радостной, его красивые глаза снова были нежными, и Наташа вновь почувствовала себя замужней женщиной. А еще через неделю она поняла, что беременна.

Сначала ей не хотелось в это верить, да и сроки были еще не таковы, чтобы можно было убедиться на сто процентов. Но с Максимом за все эти годы дети у них не получались, хотя они никогда особо не береглись. И ведь всего одна только ночь была с Платоновым... Неужели это возможно?

Однако когда через какое-то время толстая, добродушная докторша в женской консультации уверенно все подтвердила, сомневаться больше не было возможности. По всем подсчетам выходило, что отцом ребенка мог быть только Валерий Павлович Платонов. Сказать ему об этом Наташе и в голову не пришло, тем более что после той памятной ночи он держался с молодой женщиной хоть и по-дружески, но подчеркнуто сдержанно и куда более официально, нежели прежде. Так что откровенничать с начальником Наташе в данном случае не стоило.

А вот Максим должен был узнать новость как можно скорее. Он и узнал – и встретил это известие с неподдельным восторгом. Стать отцом – это было что-то новенькое в его полевой, неприкаянной, какой-то несуразной жизни. Такого приключения, как ребенок, еще не было. И он с радостью окунулся в это приключение, увлеченно закупая нужные и ненужные для ребенка вещи и проводя с Наташей все свое свободное время.

В доме наконец-то появились не просто табуретки, но даже вполне приличные стулья и вообще разная новая мебель. Появилась и новая сантехника; Максим уверял, что так для ребенка будет гигиеничнее... Соседи в их коммуналке, к счастью, были более чем достойные – две пожилые интеллигентные дамы, владевшие каждая крохотной комнаткой. По договоренности с ними были отремонтированы кухня и ванная, а комната самих супругов теперь вообще сияла чистотой и радовала глаз только что купленными шторками, покрывалами, вазочками... Для Наташи это было тем более удивительно, что занимался обновлением их жилища исключительно сам Максим, трепетно относясь к ее самочувствию и не требуя от жены никакого участия в хозяйственных хлопотах.

Впрочем, она и не смогла бы помогать ему, даже если бы такое желание обуревало Наташу. Самочувствие ее действительно оставляло желать лучшего; беременность протекала очень тяжело, и ей три раза приходилось ложиться в больницу на сохранение. Собственно, никакой особой патологии врачи в состоянии плода не наблюдали, но время от времени их настораживало какое-то не совсем типичное протекание тех или иных процессов в Наташином организме, и тогда они перестраховывались, честно стараясь разобраться в ситуации, держа Наташу под наблюдением в стационаре и разводя руками, оттого что до конца ее положение так и не было понятно.

– Чего ж вы хотите, матушка, – ворчал старенький профессор, ловко орудуя еще относительно новым для Советского Союза той поры ультразвуковым оборудованием и обзревая на мониторе ее огромный живот, – вам ведь уже двадцать шесть! Раньше надо было рожать, раньше!

Да, шел уже восьмидесятый год, девять лет прошло, как она закончила школу. И правда, можно было собраться раньше...

Наташин сын появился на свет глухой декабрьской ночью. Роды были тяжелыми, и врачи отчего-то не сразу показали матери младенца. А показав, быстро унесли его из родовой палаты, и обессиленная Наташа ничего не успела спросить у них, провалившись в душный, почему-то не принесший желанного отдохновения сон.

Утром тот же самый старенький профессор разбудил ее, осторожно присев к ней на кровать, – так же тихо и бережно, как когда-то она сама садилась рядом с умирающим отцом.

– Что-нибудь с ребенком? – быстро спросила Наташа, уже заранее почему-то уверенная в утвердительном ответе.

– С ребенком все в порядке, – задумчиво протянул в ответ врач. – Но есть некоторые, так сказать, странности.

– Он... он... – испуганно прикусила губу молодая женщина, не осмеливаясь выговорить самое страшное, – он... ненормален?

Профессор успокаивающе поднял в ответ правую руку.

– Он нормален. Все физиологические реакции в норме. Но он не плачет, как все дети, он вообще ни разу не подал голоса, хотя по всем медицинским параметрам как будто здоров. И еще он...

– Что?

– Он... улыбается персоналу. Знаете, так осмысленно.

Наташа с облегчением вздохнула и откинулась на подушки, почувствовав, как невыносимое напряжение отпускает ее.

– И только-то? – с подозрением спросила она. – Это все, что вас беспокоит? Разве это нехорошо, когда ребенок улыбается?

Старик покачал головой.

– Не в этом возрасте. Не десяти часов от роду.

Глава 4

В этот миг все в ее жизни круто сломалось уже в который раз. И Наташа не знала, к добру или к худу эти перемены; знала лишь, что теперь ее жизнь станет совсем, совсем иной.

Ребенок лежал рядом с ней в кровати, сонно касался ротиком материнской груди, и в его широко раскрытых глазах застыла такая странная, такая безмерная глубина, что ей почти страшно становилось, когда она заглядывала в эти голубые бездонные очи. Он мало спал и никогда не плакал. Соседки по палате сначала завидовали Наташе, потом подобострастно охали над «необычным ребеночком», а потом вдруг как-то разом стали сторониться ее, перешептывались за спиной, и кто сердобольно, а кто и с плохо скрываемым нездоровым любопытством отводили глаза в сторону при виде малыша, как только его приносили матери.

Выписывая Наташу, старичок профессор осторожно напомнил ей:

– Вы не забыли, что вашего сына нужно как можно быстрее показать хорошему невропатологу?

– Но здесь ведь, в роддоме, его уже смотрел специалист, – возразила молодая мама. – Мне не сказали, что его состояние вызывает какую-то тревогу.

Доктор вздохнул.

– У нас действительно неплохие врачи, но ваш сын... м-м-м, как бы это сказать? Он, понимаете ли, демонстрирует иные, гораздо более взрослые рефлексy, еще не характерные для состояния младенчества. Он не похож на младенца, и как это расценивать, наши специалисты не знают. Я уже говорил вам об этом, помните?

Наташа вздернула голову и молча направилась к выходу. Она не желала ничего слушать о странностях ее сына, не желала даже обсуждать это. «Все будет хорошо», – снова и снова твердила она про себя. Не может быть, чтобы с ней, Наташей Нестеровой, приключилось какое-то серьезное несчастье. Но сердце ее екнуло и замерло в груди так, что ей не хватило вдруг воздуха, когда она услышала, как профессор крикнул ей вслед:

– Поверьте мне, мальчик нуждается в вашем особом внимании! Может быть, он и вполне здоров, но в любом случае его развитие должно внимательно наблюдаться специалистами. Знаете, в наше-то время, с плохой экологией, со всей этой химией вокруг нас...

Боже мой, химия! Опять эта химия! Маленький Платонов и его гормон роста... Его бесконечные опасные эксперименты над собой. И та ночь, когда он обнимал ее на потертом кожаном диванчике в их лаборатории... Но Наташа замотала головой и закусилa губу, потому что не хотела, не имела права даже мысленно связывать ребенка с именем Валерия Платонова. Она – Нестерова, ее муж – Сорокин, и сын будет Сорокиным тоже. И нечего думать о всяких глупостях. Все будет хорошо.

А муж уже рвался ей навстречу, пытаясь преодолеть бдительный кордон нянечек. Он поймал жену на лестнице, оглушил восторженными воплями, закружил, едва не сбив с ног и не слушая ее слабых возражений, сунул под нос огромный букет лохматых гвоздик. А потом выхватил у растерявшейся, испуганной Наташи крохотный белоснежный сверток и сунул любопытный нос под кружевной уголок пеленки.

– Парень... Мой, собственный. Спит, да? – умиленно бормотал этот здоровенный бородастый детина, прижимаясь подбородком к нежному личику. И тут же отодвинулся в сторону, близоруко вглядываясь в сына. – Слушай, а он на меня смотрит. Вот ей же богу, Наташка! Смотрит, точно изучает.

– Не говори глупостей, – устало отмахнулась жена. – Как он может на тебя смотреть, да еще и изучающим взглядом? Ему всего-то неделя.

– А я говорю, смотрит, – заупрямился Максим. – Вот иди сюда, ближе, ближе. Видишь?..

И она увидела. Малыш смотрел на человека, которого все будут считать его родным и единственным отцом, спокойным, осмысленным и почти ироничным взглядом. Мысль застыла в его глазах – неведомая, но вполне оформившаяся, и в этот момент Наташа Нестерова окончательно поняла, что все главные трудности в ее жизни еще только начинаются.

Дома, как всегда, встречала галдящая, громкоголосая ватага геологов, шумно радовавшихся прибавлению семейства у их друга. Старушки-соседки, как полагается, восхищенно поцокали языками над новым жильцом коммунальной квартиры и торжественно вручили молодым родителям огромный пакет с пеленками. Максим, показалось Наташе, принимал поздравления как-то вяло, даже вымученно; к сыну, немедленно положенному в заботливо купленную кроватку, больше ни разу не подошел. От его энтузиазма, с которым он обнимал жену и ребенка на широкой роддомовской лестнице, не осталось и следа. А маленький Андрейка – имя для сына было ими выбрано уже давно – задумчиво следил своими продолговатыми голубыми глазами за двигавшимися по комнате фигурами и, кажется, так и не сомкнул глаз за весь вечер.

Когда гости наконец разошлись, Наташа медленно вынула из прически шпильки (сегодня утром она в первый раз за целую неделю, прошедшую со дня родов, по-человечески причесалась), приняла душ и, прежде чем лечь, подошла к ребенку. Сын, кажется, дремал; во всяком случае, носик его мерно посапывал в напряженной тишине комнаты. Наташа с облегчением вздохнула и прилегла рядом с мужем, обвила его рукой, прильнула к его плечу...

Но Максим раздраженно отодвинулся от жены в сторону. Она решила было, что муж уже засыпает, и она помешала ему, однако тот вдруг проговорил совершенно не сонным, зато свистящим и каким-то возбужденным шепотом:

– Абсолютно не похож на меня.

Наташа так устала за этот длинный день, что даже поначалу не отреагировала на эту фразу, которая в обычное время, конечно, испугала бы. Но Максим не унимался:

– Ты знаешь, я совсем не таким представлял себе сына. Он какой-то странный: не спит и не плачет, а только зыркает по сторонам своими глазищами. Вдобавок они у него голубые... В кого? Ни у тебя, ни у меня нет таких глаз.

– У всех младенцев глаза голубые.

– Но не такого цвета, – безапелляционно заявил муж. – Этот парень вообще не похож на детей, которых я видел.

– А ты много их видел? – откликнулась она.

– Достаточно для того, чтобы определить, что ребенок странный. Эй, Наташа... да ты спишь, что ли?

Но она не стала отвечать мужу, хотя от его слов ее сон как рукой сняло. Пусть думает, что она спит. А ей надо побыть наедине с собой. Надо поразмыслить о том, что будет дальше.

За ночь Андрейка ни разу не подал голоса и утром встретил родителей улыбкой и опять совершенно осмысленным, теплым и радостным взглядом.

– Ну и детеныш, – не преминул отметить Максим, уставясь в колыбель недобрым взором. – Нет бы орал, как все дети, так он молчит и улыбается.

– Ты недоволен тем, что мог спокойно спать всю ночь? – уже едва сдерживая себя, холодно спросила его жена. – Тебе больше понравилось бы вставать к нему по три раза за ночь, подносить бутылочку с водой и менять пеленки?

– Ну, этим, положим, пришлось бы заниматься не мне, а тебе, – парировал Максим. – Но я, во всяком случае, тогда был бы спокоен за здоровье и разум этого дитятки.

Он долго еще бормотал себе под нос что-то язвительное, собираясь на работу, но Наташа уже не слышала его: заткнув уши пальцами, она сидела на кухне (благо время было раннее и соседки, божьи одуванчики, еще не вылезали из своих комнат) и, уставясь взглядом на какое-то пятнышко, оставшееся на столовой клеенке с вечера, тупо повторяла про себя: «Все нор-

мально. Молодые отцы редко сразу привыкают к детям. Ему просто не понравился Андрейка. Он привыкнет, и все у нас будет хорошо».

Днем к ней без звонка ввалилась целая компания коллег из ее химической лаборатории, всегда тепло относившихся к дочке профессора Нестерова, и Наташе пришлось лукавить, отвечая на участливые расспросы: да, очень устала... конечно, много плачет, ведь он такой маленький... нет, молока хватает, но вы ведь понимаете: ребенок есть ребенок. Платонов, пришедший вместе со всеми и принесший традиционный букет гвоздик (никаких других цветов в зимнее время в Москве тех лет отроду не водилось), вопросов не задавал, больше молчал, но долго стоял у кровати, внимательно рассматривая Андрейку. И потому Наташа совсем не удивилась, когда он, призвав всех иметь совесть и дать молодой матери отдохнуть, настойчиво выпроводил коллег за дверь, а сам вернулся и прямо с порога, даже не проходя в комнату, спросил:

– Что не так, Наталья?

Слава богу, она успела подготовиться к этому вопросу.

– А что не так? – Ее глаза были в меру удивленными, и она от души надеялась, что выглядит искренней.

– Только не ври мне, – строго сказал Платонов. – Я же вижу. Он мой?

– Да бог с вами, Валерий Павлович. Откуда вдруг такие страсти? С чего это вам в голову пришло?

Начальник лаборатории смущенно кашлянул.

– Ну, теоретическая-то возможность была. Смотри, Наташа, больше я тебя об этом никогда не спрошу. Хочешь мне что-нибудь сказать, говори сейчас.

И она, неожиданно для себя, вдруг пожаловалась Платонову на то, о чем даже и не подумала сообщить мужу:

– Врачи говорят, ребенок хороший, здоровенький, только... немножко странный. Рефлексы, говорят, какие-то не те. Спит мало, плакать совсем не плачет, глаза осмысленные.

– Они это как-нибудь объясняют? – деловито принялся расспрашивать Платонов.

Она помолчала, не зная, как сформулировать ответ и как перемешать правду с ложью, так чтобы он никогда больше не задавал ей вопросов. А потом пожала плечами и как можно равнодушнее произнесла:

– Атомный век. Плохая экология, плохая вода, ненатуральное питание. Говорят, одна химия кругом.

Валерий Павлович вскинул на нее мгновенно насторожившиеся глаза и каким-то севшим, словно надтреснувшим голосом произнес:

– Химия, говоришь... Вот как.

А Наташа, вдруг разволновавшись не на шутку, махнула рукой и капризно произнесла:

– Ладно вам все о грустном. Я и так места себе не нахожу, устала, беспокоюсь о маленьком... Давайте лучше о чем-нибудь радостном поговорим.

– Давай, – с готовностью согласился Платонов. – Когда думаешь на работу выходить, молодая мамаша? Весь положенный государством срок отгуляешь или ты все же не совсем потеряна для науки, соскучишься по нашим пробирочкам, вернешься быстрее?

Наташа, не поверив, что ей так легко удалось сбить его с толку, изумленно заглянула в ореховые глаза начальника и увидела в них подтверждение тому, о чем он только что сказал ей сам: он действительно больше никогда не станет допытываться от нее правды. Лишние осложнения не нужны были Платонову; он был готов помогать молодой женщине, если мальчик и в самом деле вдруг оказался бы его сыном и если она попросила бы у него этой помощи прямо сейчас. Он дал ей шанс как человек, отвечающий за последствия своей случайной связи. Но сам он никогда не вернется к этому разговору. И судьба малыша ему вовсе не интересна.

Наташе невольно стало грустно, но она тут же одернула себя: сама так решила, сама хотела сохранить эту тайну. В конце концов, они с Платоновым всегда превосходно понимали друг друга. И, снова посмотрев ему в глаза, молодая женщина спокойно принялась обсуждать с ним проблему своей будущей карьеры. Эти два человека знали, о чем умалчивает каждый из них, и, без слов поняв друг друга, согласились молчать и впредь.

Максим пришел вечером хмурый и недовольный, буднично чмокнул жену в щеку и ничего не спросил про Андрейку. К колыбели, впрочем, подошел и, получив от ребенка очередную порцию заинтересованных взглядов, пробормотал под нос что-то вроде: «Нет, каков малец, а?..» Наташа не стала уточнять, что именно он имеет в виду, а муж, наскоро поужинав, коротко и сухо сообщил ей, что на следующей неделе уезжает в экспедицию.

– Мать тут поможет тебе без меня? – спросил он небрежно, ничуть не сомневаясь в ответе. Он редко вспоминал об Алле Михайловне, отношения с которой у него так и не сложились, однако на помощь тещи привык рассчитывать при каждом удобном случае.

– Поможет. Она уже заходила сегодня и, – тут Наташа не удержалась, чтобы не кольнуть мужа, – в отличие от тебя, ей Андрейка очень понравился. Она сказала, он очень смысленный и необычный малыш.

Максим молча пожал плечами. Больше к этому вопросу они не возвращались.

Мнимый отец так никогда и не полюбил мальчика. Уже потом, спустя годы, Наташа с грустью признавалась себе, что именно этого и следовало ожидать. Грех есть грех, и правда, даже если она тщательно скрыта от посторонних глаз, всегда так или иначе выходит наружу. Максим никогда не чувствовал Андрейку родным, любимым, никогда не видел в нем сына, да и с какой, собственно, стати? Разумеется, Наташин муж не подозревал об истинном положении вещей, но сердце, видимо, не обманешь.

Зато ее мать с самого первого дня души не чаяла во внуке. Она ходила с ним гулять, читала ему чудесные сказки и, приводя его к себе, впервые за долгие годы начала снова садиться за чудесное беккеровское пианино, оставшееся от той, ее прежней и прекрасной, жизни. Андрей слушал музыку, широко раскрыв глаза, а потом ластился к бабушке и заглядывал ей в лицо внимательными, все такими же осмысленными голубыми глазенками и молчал. Он не говорил ни слова ни в год, ни в два, ни в три. И только одна Алла Михайловна не желала видеть в этом признак какой-либо ненормальности.

– У вашего ребенка странная форма аутизма, – задумчиво постукивая карандашом по столу, говорил высокооплачиваемый специалист по детским болезням, светило медицинской науки, с которым отчаявшейся Наташе помог договориться о встрече (разумеется, за соответствующий гонорар) все тот же верный Платонов. – Это, пожалуй, и не аутизм в привычном понимании этого слова, это какой-то перекося в развитии: превосходные интеллектуальные данные при полном отсутствии интереса к себе подобным. Очень, очень интересный случай... для науки, разумеется.

– Ничего подобного, – возражала Алла Михайловна, когда Наташа рассказывала ей о результатах очередной консультации. – Я же вижу: Андрейка всем интересуется, все понимает. И слышит он превосходно – уж я-то разбираюсь в этом, поверь, я ведь каждый день играю ему то Шопена, то Моцарта, то Рахманинова. Он не бесчувственный и не странный, просто у мальчика особый, очень глубокий внутренний мир, и ему пока нет нужды выражать его в словах. Ты замечала когда-нибудь, как пристально он смотрит вечером на звезды? Подойдет к окну и смотрит, смотрит... Вот увидишь, он будет разговаривать, когда захочет, когда ему придет пора.

Бабушка посвящала Андрейке все свое свободное время, не выказав и капли подобной привязанности ко второму малышу, который родился у Наташи и Максима спустя четыре года. Молодая женщина, чувствуя свою вину перед мужем, с радостью подарила ему родного сына, и именно этот малыш принес в дом то, в чем так нуждался Максим, чего ему так не хватало

для полноты семейного счастья: горькие слезы и обычные детские болезни, отчаянный крик по ночам и капризы за завтраком.

– Вот это нормальный мужик, – приговаривал Максим, впихивая в сына очередную ложку овсяной каши. Он стал все реже бывать в экспедициях, семейный быт, прежде почти ненавистный, неожиданно затянул его, и он вдруг открыл для себя все радости неторопливой городской жизни с женой и детьми. – Вот это я понимаю, это я одобряю...

– Это капризы ты одобряешь? – насмешливо шурилась Наташа, успокаивающе поглаживая по руке четырехлетнего Андрейку и подвигая ему поближе вазочку с конфетами. – Смотри, вырастишь спиногрыза, еще наплачемся.

Впрочем, она не собиралась спорить с мужем всерьез: одинаково любя обоих сыновей, она даже рада была, что во втором ребенке муж нашел истинно родную душу и сумел реализовать свои отцовские чувства.

– Зато твой-то любимчик даже спасибо не скажет, выходя из-за стола, – огрызался Максим. – Ты его вконец разбаловала, носишься с ним как с писаной торбой.

– Он скажет, если ему напомнить, – примирительно откликнулась жена.

Андрей и в самом деле уже говорил – медленно и неохотно, но правильно выговаривая даже самые трудные слова. Он все так же был молчалив и погружен в себя, все так же мало стремился к общению с другими людьми и все же больше стал похож на то, что люди обычно называют «нормальный ребенок». Алла Михайловна уверяла, что наедине с ней он открыт и раскрепощен, но Максим только отмахивался от этих рассказов, а Наташа, хоть и верила матери, все больше начинала думать, что та выдает желаемое за действительное. Но однажды ей пришлось удостовериться в том, что ее старший вовсе не бесчувственный истукан, а живой, нежный и куда более ранимый ребенок, нежели все, кого она знала. Это было в тот день, когда она впервые увидела его слезы и когда он впервые горько рыдал, вцепившись в край ее платья и уткнувшись в руку матери, как смертельно раненный зверек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.